

ПАВЕЛ КРЕНЁВ

Проза
Русского
Генерала



Берег мой ласковый

Проза Русского Севера

Павел Кренёв

Берег мой ласковый

«ВЕЧЕ»

2019

Кренёв П. Г.

Берег мой ласковый / П. Г. Кренёв — «ВЕЧЕ», 2019 — (Проза
Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-7866-6

В книгу известного современного прозаика включены произведения, повествующие о жизни на Русском Севере – о современных поморах, населяющих берега Белого моря. Это достоверный, правдивый рассказ о людях, живущих в суровых условиях, о их быте, истории, обычаях, об испытаниях, выпавших на их долю за последние сто лет. Автор книги – сам коренной помор, носитель местных обычаев и языка.

ISBN 978-5-4484-7866-6

© Кренёв П. Г., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

«И на земли мир...»	6
Огневой рубеж пулеметчика Батагова	30
1	32
2	36
3	39
4	44
5	46
6	50
7	53
8	56
9	58
10	61
11	65
12	69
13	72
14	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Павел Кренёв

Берег мой ласковый

© Кренёв П., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

«И на земли мир...»

Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

Лк. 18; 16

Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.

Мф. 18; 10

Что-то зашабарчало на крыльце. Вроде бы кто-то пришел и начал подниматься по ступенькам, потом шаги стихли. Но сквозь ветер, ударяющий о стену и шелестящий в пазах, пробивались звуки, говорящие о том, что на крылечке кто-то примостился, сидел там и не уходил. Тяжело поскрипывали толстые доски, пошаркивали чьи-то каблуки.

Мать, глубоко верующая, а потому всегда спокойная и равнодушная ко всяким несуразным страхам, отчего-то вдруг заволновалась, напряглась на своем низеньком стульчике, вытянула шею, с тревогой в глазах заглядывала на сына, сидящего за кухонным столом и корпящего над уроками.

– Чого оно тамо где? На крылечки-то. Али пришел ето хто? Глянь-ко, Егорушко.

Сынок оторвался от своей «арифметики», соскочил с конца лавки, сунул босые ноги в катаночьи обрезки, раскиданные в углу избы, и раздетый, без шапчонки, выскочил на крыльцо. Ему самому давно уж хотелось хоть ненадолго убежать от книжек и тетрадок, от обрыдлого занятия, да размять малость ноги.

На крылечке спиной к нему сидел-посиживал местный письмонос Артемко, сидел почему-то согбенный и смирный в эту минуту, совсем не похожий на себя. Обычно бывал он шумным, матершинистым и веселым. Когда шел по деревне, то в любую минуту из любого конца деревни можно было определить его место нахождения. Вокруг него всегда гуртовался народ, вседа рядом с ним крики, хохот и веселая ругань.

А тут разместился на крылечке и помалкивал, сидел, обняв одной рукой свой почтовый мешок из старой замызанной парусины.

Отчего-то не заходил в дом. На Егорку глянул мельком и отвернулся.

– Дак, заходи, давай, дядя Артем, заходи-тко в избу-то. Холодно ведь тутова, – сказал ему Егорко приветливо. Он уважал почтальона за доброту и за простоту. И тот всегда уж ласково трепал ему вихры, когда встречал на улице.

А Артем отчего-то медлил, только спросил вполголоса:

– Агафья-та дома, аль нет?

– Сидит мама, шерсть чипат, дома она.

Почтальон как-то нехотя, невозможно кряхтя, поднялся на ноги, покачал головой и пошел в дом. Егор за ним.

Агафья выбирала из кучки овечьей шерсти, лежащей на расстеленных на полу газетных листах, всклокоченные спутанные комочки, понемногу раздергивала их и укладывала на стальные крючки старенькой чипахи. Потом накрывала другой и шаркала чипахами в разные стороны. Через малое время поднимала верхнюю чипаху – и перед нею оказывался воздушно-мягкий, чистый и пушистый шерстяной пучок, готовый к укладке в прялку, к тому, чтобы скать из него ровное шерстяное прядено.

Переступив порог, Артем повернулся к образам, сотворил короткую молитву и перекрестился. Потом стал перед Агафией.

– Здрава будь-ко, большуха Агафья Онисимовна, – сказал он негромко и вдруг заторопился, запустил руку в сумку и достал из нее большой серый конверт. Скособоченно как-то подшагнул к хозяйке и положил конверт к ней на колени. Вынул из мешка еще одну бумагу, ткнул пальцем в какую-то клеточку на ней и велел в этой клеточке расписаться.

– Это мне под отчет надо, – сказал он хрипло.

Агафья расписываться не умела, она нарисовала в указанном месте крестик.

Почтальон ничего больше не сказал, сунул бумагу в мешок и выскочил за дверь. Его шаги грузно протарабанили по ступенькам. Все стихло.

В вечернем избуном полумраке серый квадрат письма тускло отсвечивал на коленях матери. От него почему-то исходила смутная опасность, нечто взволновавшее душу.

– Чево-то озарко мне, Егорушко, – в голосе матери зазвучала вдруг тревожная нота. Так меняется песня лесной птицы, распознавшей беду, возникшую перед ее птенцами.

– Ты почитал бы мне, Гоша, енти бумаги. Грамотной таперича... А у мян с глазами-то худо нонеча. Ты ведь знашь...

Егорко забрал у матери конверт и осторожно большими овечьими ножницами с боку отстриг тонкую полоску. Достал само письмо. Оно представляло собой лист твердой бумаги, почему-то пахнувший тюленьей ворванью.

– Читай давай, Егорко, читай, чево оне там пишут, еретики ети?

Мать чем-то была встревожена. Оторвалась от своего чипанья. Сидела выпрямленная, настороженная. Глядела на сына растерянно, будто что-то чувствовала. В глазах испуг и страх.

– На конверти-то чего? На конверти-то?

Читал Егорко медленно, спотыкаясь, путая рукописные буквы. Он еще не привык к людским почеркам. У него был всего лишь второй класс начальной школы.

– Му-мур-ман-ская. Это значеть мурманская, чего там дальше? За-го-тови-тель-ная. А, это выходит заготовительная... Мурманская заготовительная зверобойная контора, – с превеликим трудом разобрал он название организации.

– Ну, ну, дак и понятно. Чево в письме-то самом? Прочитай ты ради Христа, – торопила его Агафья.

Сын ее развернул перед собой письмо и начал громко, по слогам зачитывать текст. Читал он долго.

«Васильевской Агафии Анисимовне.

С прискорбием сообщаем Вам, что Ваш муж Васильевский Андрей Павлович скончался во время зверобойного промысла от переохлаждения в результате крупозного воспаления легких на ледокольном судне “Георгий Седов”. Тело его захоронено...»

– Стой-ко, стой-ко, погодитко-се, – не осознала мать сути написанного.

Она сидела с приоткрытым от ужаса ртом. До нее с трудом доходил весь трагический смысл этих роковых, ледящих сердце слов.

– Дак, они ошалели, али как? Чего тако оне пишут-то? Ты, сынок, не спутал там чево?

– Не, мама, тут тако написано.

Мать с остекленевшими глазами упала на колени, на пол и завывала протяжно, по-звериному. Заплакала волчицей в зимнем, холодном, промозглом и голодном лесу, у которой охотники убили вожака ее стаи, отца ее выводка. Теперь без него ей не прокормить своих детенышей.

Егорко, перепуганный стенаниями матери, так поначалу ничего и не понявший, убежал на поветь, забился в угол и только там осознал громадную беду, на него свалившуюся. И тоже, завывая, заплакал, словно щенок, потерявший свою семью. Плакал долго и безутешно, навзрыд.

Потом к нему пришла мать Она села рядышком, прижала к себе, и они плакали вдвоем. Два трясущихся от холода и горя человека.

Так девятилетний Егорка Васильевский стал сиротой.

* * *

Бабушка его, мать отца Феклиста Ефимовна, очень его жалела. В великую радость было для нее, когда внучек по какой-о причине должен был остаться в доме один. Тогда она скорее-хонько семенила на стареньких, заскорузлых своих ножках в дом к невестке Агафье и всегда уж просила:

– Агаша, пушшай дитятко-то у меня, у бабки поживет, пока тебя-та не будёт. А уж я-та уважу его, паренечика-та. У меня и колобки сготовлены, и галагатка, и мусьничинка налажена... Не оголодат уж всяко парнишечко-то у меня...

И любил Егорка эти гостеванья у бабушки Феклисты.

Еще в недавние, коегодние годы было у бабушки Феклисты шестеро внучат – детей сына Андрея и невестки Агафьи. Четыре парня и две девочки. Справными росли, послушными. Старшие уже вовсю на поле и в море помогали. Да не случилось им возмужать и войти в полноценную жизнь. Убила их нагрянувшая на морские побережья страшная лихоманка – неведомая и неслыханная здесь доселе черная оспа. Крепко выкосила она деревни. Умирали и стар и млад. Больше гибли дети. Растаяли на глазах и внуки бабушки Феклисты. Только-только еще катались на лыжах, помогали по дому родителям, удили окуней да ершей в речке, и вдруг становились вялыми, бледными, валились с ног. Молодуха Агафья с мужем несли гробик на кладбище, отпевали там, плакали. Потом, бывало, возвращались изнуренные трагедией домой, а там уже упокоился следующий ребенок. Лежит на кровати бледненький, личико изъедено ямками-оспинами. Еще один отлучился навсегда от дома, от любящих домочадцев. И от высасывающей кровь и жизнь болезни. Теперь пришла очередь везти и его на погост.

Агафья от горя еле передвигалась. Шла по деревне словно сгорбленная старушка, хотя ей не было и тридцати. Когда умерла пятая девочка – предпоследний ее ребенок, она совсем уже не смогла двигаться. Пришло то известие, и она упала посреди улицы, лежала без движения, словно сама покойница. Муж Андрей отнес ее на руках в дом и неделю потом выхаживал.

Остался в живых только Егорушко.

Измучив деревни, оставив после себя разор и опустошенные семьи, страшная хворь улетела в другие края, чтобы сеять и там смерть. Но перед тем, как исчезнуть, навестила она и его. Посидела у детского изголовья, провела костлявой рукой по лицу... Но почему-то не убила, а заставила долго лежать в жару и беспмятстве. Перепугала родителей и бабушку. Видимо, костлявая карга пожалела его – последыша и оставила лишь память о своем огненном, смертельном дыхании, да ямки на всем теле.

Егорушку поднимали, как могли, да какие были лекарства в те голодные, страшные двадцатые годы? И все же встал он с болезненной своей кровати, поднялся на ноги. Не сразу, но пошел потихоньку по деревенской травке, пошел и пошел.

– Стал на ножки, хворобушко-то мой, – радовалась Агафья.

А через недельку-другую и побежал он босыми ногами по деревенским улицам, включился в домашние работы, в мальчишеские игры. Свалившая его с ног болезнь отпрянула от детского тельца, а потом и совсем забылась. Долго жила только слабость в коленках, да и та потом прошла.

Начало лета в тот тридцать второй год выдалось ладное. Шумное, ведряное, теплое. С середины мая как пошли благие ветра – побережники, да с лета, да шелонники, так и стояли они с маленькими промежутками почитай весь июнь и вот уже половину июля. Изредка, по светлым вечерам, хмарилась погода. Небо припадало к земле, и из-за высоких угоров, громад-

ными валами огородившими деревню с западной стороны, выкатывались тяжелыми туманами темно-синие тучи и выливали на деревню, на всю природу, на море потоки летних дождей. Эти проносные ливни обильно напityвали водой теплые поля, пашни и пожни. Оттого быстро и густо росла трава, сочнее зеленели житные нивы, суля селянам добрый урожай.

Егорушкина мама Агафья ходила в припольки глядеть траву. Она всегда в начале лета хаживала туда, ей было интересно вызнать, какая она в этом году будет на родовой пожне в Андреевшине, густа ли, да высока? Давно известно, какая трава в припольках, такая и на лесных пожнях, да в сюземках. Когда трава справна – больших раздолий выкашивать не надо. Двух своих пожень вполне хватает и для коровы, и для коня-трехлетки, и для овечек.

* * *

Было так до прошлого года. Егор только-только научился ладно сидеть верхом на домашнем мерине Ветерке. Отец долго не решался посадить его в седло, опасался, вдруг да свернется сын с лошадиной спины. Но когда парню исполнилось восемь годов, он сказал:

– Пойдем-ко, Егорушко, со мной.

И повел к коню. Взял Ветерка под узцы, вывел на морской берег и, подняв сына на вытянутые руки, усадил в седло.

– Крепко сидишь? – спросил.

Егорка маленько струхнул. Тут, на конской спине, сидеть было страшновато, земля казалась далеко внизу, отец тоже... Но нельзя ему было выказывать свою трусость, очень хотелось уметь скакать на лошади, как другие старшие ребята. Егор покрутил головой, поерзал и решительно выкрикнул:

– Крепко, папа, крепко!

И конь степенно завывшагивал вдоль морской кромки, неся на спине восторженного мальчишку.

Поддувал с моря восточный ветерок «сток», гулял по морю небольшой взводенек. А конь мерно и спокойно выхаживал по морскому заплестку. И от этого морского простора, распахнувшегося по правую сторону, и кипенья солнечных искр, бьющих в глаза, свежего прохладного морского ветра, бодрящего его детское тельце, и от счастливого осознания того, что отец разрешил ему самостоятельно проехать верхом на коне, Егорку охватил восторг.

И закричал Егорка в упоении радостной минутки:

– Вперед, Ветерок, вперед!

Теперь год, ровно год прошел с того момента, когда были в его жизни отец и жеребец Ветерок.

Вот теперь нет ни того, ни другого.

Отец погиб на Мурмане. Любимого мерина забрала другая беда. И коня, и корову Ромашку.

Зимой понаехали из района уполномоченные, важное руководство и организовали в деревне колхоз.

Было большое, шумное собрание. Спорили, курили, галдели, отчего в избе-читальне висел непролазный чад. Кашляли задыхающиеся от дыма женочки. Создали колхоз «Промышленник», объявили кулаками три семейства. Через неделю всех их увезли на подводах. Мужики мatoryались, женщины надсадно были.

Обратно никто из них не вернулся.

У новоиспеченных колхозников, у всей деревни отобрали всю добротную скотину – лошадей и коров. Оставили только овечек. И то благо – и мяско какое-никакое, и опять же шерсть на носки-рукавицы, на теплые рубашки для морской промысловой работы.

К Васильевским тоже пришли. Отец бросился на поветь, перекрыл дверь в хлев сухой березовой поперечиной, да и ломом припер. Незваные гости потолкали ее, поматюкались, а потом, видя, что бесполезно, принялись рубить дверь топорами. Корова Ромашка тревожно и как-то отчаянно замычала, начала биться беременными боками о стенки стойла. Ветерок тоже встревожился, застучал копытами, громко, на всю деревню, заржал.

Что было делать, отец открыл изрубленную дверь...

Теперь, проходя мимо конюшни, Егорко всякий раз выкрикивал:

– Ветерок, Ветерок!

И мерин узнавал его голос и тоже кричал по-своему, по-лошадиному что-то протяжное и обреченно-горькое.

Егорко всякий раз плакал при этом, и конь плакал тоже.

А Ромашка, когда возвращалась с выпаса с колхозным стадом вместе со своим теленком, всегда уж заворачивала к родному дому, стояла и мычала.

Мать никогда не выходила к ней, а только падала на кровать и потихоньку выла. И просила Егорку:

– Уведи-ко ей скорей, Егорушко, не могу я...

Они с Ромашкой были большие подружки.

Теперь совсем не было нужно ходить в приполек и проверять траву, какова она сейгод?

Но мать все равно ходила и проверяла.

Такая у нее была привычка.

* * *

Сенокосы, пятнадцать человек, вышли в сюземок. На разливные луга Сярт-озера, где самолучшие клевера, где всегда густое, душистое разнотравье. Ушли ранним утром с косами-горбушами, с граблями.

Егоркина мать Агафья ушла с ними тоже. Уложила в пестерек какой-никакой скарб: одежку на пересменку, да хлебный каравай из самомолотого ячменя. Вышла из дома на зыбкой зорьке светоносного июльского дня, не разбудив сыночка, не перекусив толком, не глотнув горячего чая. Некогда ей было гонять чай – у колхозного правления к пяти утра, согласно спущенному сверху указанию, уже собиралась сенокосная артель.

Стояла пара мужиков с вилами, с топорами и кучковались, уже подходили к ним все новые женочки. И рыскал промеж всеми вездесущий бригадир Иван Перелогов, неугомонный и неудержимый в колхозном своем рвении. Ему не стоялось спокойно. Тело его все дергалось куда-то вперед, вперед куда-то.

– Че тянитесь, едри бабку, че тянитесь? Итить надоть уж давно! Солнышко запалит – как пошаркаите? Скисните ить, скисните!

Обошел каждую.

– Ты, Дашутка, все взяла? Где брусок? Чем править косу будешь? А ты, Олена?

У каждой гребей, кроме пестерька, грабли в тугой связке с косой, лезвия обмотаны мешковиной и перетянуты веревками. Путь долгий, тяжелый – двенадцать верст через лес да болота – не шутка. Ежели в дороге чего расхлябается, времени на перевязку не достанет, ждать никто не будет. Беги потом одна по лесу, догоняя народ.

Хоть и знал Егорко, что мать уйдет в лес с косарями, а все же нет никакой радости оставаться дома одному. Проснулся он и понял: нету мамы, он один в доме. И стало ему одиноко и тоскливо. Полежал он в нерадостном настроении. Солнышко уже висело над морем, било лучами по окнам и по нему, лежащему напротив восточной стороны. Ело глаза ярким светом, лежать дальше было невозможно.

Вставать не хотелось. По пустому дому гуляли какие-то звуки; Егорко всегда их побаивался и убегал к матери. Сегодня бежать было не к кому. Осознал он вдруг, что этот застаревший страх поглощается сейчас другим острым чувством. Что ему насущно не хватает гвалда братьев и сестер, которых неосознанно, невысказанно, без памяти любил, не достает дружбы с ними, детских драк, игр, таких привычных в совсем недавнее время. Не хватает той веселой обыденности, которая сопровождала его во все годы осмысленной жизни.

Нет больше отца, его широких, сильных плеч, которые Егорко так любил оседлать.

Ушла на сенокос мать, и бабы Феклисты тоже пока нет. Одному в доме страшно.

Егорку два года назад напугал домовый. Он явственно жил в их доме, все время чего-то воровал, прятал вещи, вечно стучал в стены, в дверь, скребся за печкой и на повети. Все домочадцы знали о его присутствии, чувствовали его, и все относились к нему, как к обыкновенной, даже обязательной принадлежности деревенского дома. И почти не боялись его, потому что он никого не обижал.

А тут напугал.

Егорушко спал в горнице на деревянной лавке около стены, напротив входной двери. В этой же комнате спали на широкой, самодельной лежанке мать с отцом. Вдруг сквозь сон, сквозь глубокое забытие услышал он, как открылась тихонько дверь, и послышались тяжелые шаги, от которых подгибались половицы. Шаги приближались к нему, и Егор почувствовал, что над ним склонился и тяжело дышит кто-то. Этот кто-то стоял над ним и стоял. И даже запах от него исходил, запах старого дома, и еще чего-то старинного и душного. Егорке было нестерпимо интересно: кто же это? Он выпростал из-под одеяла руку и протянул к тому, жуткому и таинственному. И уткнулся рукой в грубую, длинную шерсть.

Тут же по руке его сильно ударили, и Егорко заорал от ужаса и боли. Подбежала испуганная мать, села рядом, прижала к себе... А он, мальчишка, еще долго не мог успокоиться и уснул лишь на родительской кровати, лежа между матерью и отцом.

А утром пришла к ним в дом баба Феклиста, зашла за печку и выругала домового в пух и прах:

– Ты чего творишь-то, проклятушкой! Ты пошто, змееватик, внучка мово пужашь? Штобы не было больше етого! Вишь, моду взял окаянной! Рыло свое выказал. Вот с иконой приду, да с ладаном, ак будёшь знать, погана твоя морда! Загунь, штоб я больше не слышала тебя! Парня нашего вон как перепугал! Живешь, дак и живи как следоват, а нет, дак и уматывай отсель!

Егорко прибрал постель – и отец и мать всегда требовали убираться за собой. Сполоснул лицо и руки, и на кухне съел то, что оставила для него мать – вареные в мундире две картошины с солью, соленую и тоже вареную сорожку, кусок хлеба и попил холодного морошечного чая.

Бабы Феклисты все не было, и Егорко сунул ноги в шаршаки – старые истоптанные бахилы обрезки – и пошел к морю. Вся деревня ходила к морю, когда выдавалась свободная минута – на морском берегу было всегда веселее. Сел там на полувсосанное в песок, подгнившее, а оттого мягкое бревно и стал глядеть на воду.

На море была «кроткая» вода – самый отлив. И каменистые кошки выпятили на свет Божий покатые, обглоданные штормами валуны, пучки коричневых водорослей.

Но вода уже «вздохнула», потихоньку начинался прилив, и струи приливного течения врывались из-за корги в прибрежное залудье.

Далеко-далеко, за ярко-синей полосой горизонта, как бы из воды поднимался дым. Егор знал уже, что это за дым – там, в самой дальней морской голомени, идет пароход. А дымит он оттого, что двигатель его работает на каменном угле. Ему это растолковала школьная учительница Таисья Павловна. Сейчас кочегары бросают в топку этот уголь, и он при сгорании сильно чадит. Идет пароход в горло Белого моря и везет из Архангельска лес за границу. Там

лес продадут, государство на этом заработает деньги, и страна наша будет жить еще богаче. Даже богаче, чем сейчас.

Прямо перед ним за каменистой коргой жировала, гонялась за селедкой белуха Маня. Она показывала Егорке из воды свою белую, гладкую и мокрую спину, кажущуюся на густой синеве морской поверхности боком резвящегося в море белоснежного лебедя, шумно выстреливала из спинного отверстия струю влажного воздуха и опять уходила в глубину за новой добычей.

– Манька, Манька! – позвал ее Егорко.

Он дружил с белухой, и та была для него вроде ручной собачки, всегда откликалась на зов и приплывала за коргу, когда он выходил на берег. Егорко приподнялся на бревнышке и замахал белухе руками. Та, вынырнув, издала гортанный звук – поприветствовала приятеля, фыркнула опять воздухом и ушла под воду.

Егорко понимал красоту моря и хотел бы нарисовать ее, но рисование не давалось ему. А так он изобразил бы и море в шторма, и в штилевую погоду, и проплывающие на горизонте пароходы, и рыбаков в черных просмоленных карбасах, и невода, и чаек, и свою подружку белуху Маню.

Он нарисовал бы свое море.

Посидел он на бревнышке, посидел... Послушал гуляющую по сердцу и разливающуюся по телу тоску. На него вдруг тяжеленным, неподъемным бременем навалилось одиночество. Ушла в сюземки мать, оставив его одного, не меньше, чем на неделю. Вокруг пластался огромный мир с этим бесконечным морем, с полями и лесами, а он, Егорко, был в этом мире один-одинешенек.

Понял он, что не вынести ему одному целую неделю без матери. Что и взаправду помрет он от тоски.

Ему невыносимо захотелось к родной душе, бесконечно ласковой и любимой – к матери.

– Егорушко, вот ты где! Здрастуй-косе, мил человек!

Бабушка Феклиста наконец-то явилась. В выцветшем платочке, в старом блеклом сарафанчике. Видно, что старушка запыхалась спозаранку со своими ягушечками, да двумя баранами, да с домашними хлопотами.

Она кое-как согнула старые свои косточки, поскрипела ими и уселась рядышком с внучком.

– Вот ты валяешься, бедошник, а овечки-то твои по деревни-то и калабродют. Их матка твоя Агафьюшка выпустила из хлева, а им куды девачче? Стоят кол мово дому, да и блеют, срамники. Ну, да я их угостила кусочками, с моима вместе и упехались куды-то. Всяко знают друг дружку, родня, дак чево... Да приду-ут оне, куды деваючче.

Она посидела рядышком на бревнышке, поглядела на море, на морскую даль и спросила:

– Ак, ты-то, мужичок, чево делать удумал? Один ведь. Али ко мне пойдешь, к бабушки своей? Я тебе и рада буду, парнишечку. Да и матка твоя мне заказывала тебя приютить.

Егорко поглядел по сторонам, фыркнул пару раз, как деревенский мужик бы это сделал, потом сказал решительно:

– Не, баба, я к маме пойду. Не могу я без мамы, заскомнал я...

Феклиста вызняла кверху руки, шлепнула ладонями по коленям.

– Поглядит-косе на его, на шаялка! Куды удумал! В сюзёмок хошь! Один!

– Куды иише? Мама-та ведь тамогде.

– А не пушшу я тебя, парень. Один-то по лесу как пойдешь? Зверье тамогде, ведмедя!

Страшшают оне... Замнут, да и все...

– А и страшшают, дак чево? Пойду, да и пойду, дойду всяко! Всяко не замаячают меня...

– А дороги-то не знашь, окаянной! Уведет лешой куды-нинабудь. Загинёшь один-то!

– А я, баба, по следам косарым пойду. Натопали всяко благошко, пятнадцать человек, заметно всяко...

Феклиста посидела, повсплескивала руками.

– Разумник нашелсе едакой! По следам... Оголодашь тамогде в дороги, замрешь с голоду под кустом...

– Ак, ты, бабушка, положи мне кусок какой... Да и я дома у мамы поишшу. Мама всяко уж оставила.

– Не знай, чо и делать с тобой? Удумал чего не надоть, бедошник... Ты топорик положи в пестерек, да ножик, как без их?

Феклиста с растерянным видом посидела опять, поразмышляла. Ей не удавалось предостеречь от неразумного поступка своего непослушного, самовольного внука, идущего прямо в пасти лютого зверья. Она бормотала тревожную ругань и все всплескивала руками.

А Егорко твердо сказал:

– Выйду рано утром. А сѣдни, баушка Феклиста, байну бы затопить.

И он знал, и Феклиста знала, что ни один мужик в деревне не начнет серьезного дела, не помывшись в бане. Обычай таков. И отец его также всегда поступал.

Бабушка с трудом, с кряхтением, с хрустом в древних косточках поднялась с бревнышка. Махнула старой ручкой.

– Решил, дак уж чого. Ташши в байну воду, да дрова, у мня-та, мил чоловік, мочи некакой нету... Натаскашь, дак крикни, я приду, стоплю.

И пошаркала к своему дому. Оглянулась на секундочку и сказала негромко с неприкрытой гордостью за внука:

– Мужичок стал... Ишь, сам все решат...

Покачала седой, старой головой и, ступая к дому, добавила:

– Без батька теперь дак, куды деваться.

И утерла слезу кончиком платка.

Егорко долго тюкал колуном по чуркам, пока наколол дров на три охапки – этого хватало, чтобы натопить байну до крепкого жара. Отцовский топор был тяжел. Выздымать его над головой было непростым делом. Да и удары по чуркам не попадали в одну точку. Приходилось тюкать по многу раз, чтобы располовинить каждую чурку, а потом расчетверить. Отнес поленья в предбанник. Начерпал порочкой воды из колодца, залил чугунный бак, что был встроен в булыжную кладку черной банной печи. Это для горячей воды. Принес еще два ведра холоденки для самой помывки. Поставил в предбанник.

Слазил на чердак, снял с сушильной веревки высохший до звона березовый веник. Занес его в парилку и положил на полоч. Потом надо будет запарить в кипятке.

Он крепко замаялся от проделанной работы – вода да дрова – дело тяжелое. Надо бы передохнуть, но Егорко пошел к бабе Феклисте, позвал затоплять баню.

А та – натодельный мастер по растопке да натопке черных бань. Совсем скоро байна пыхала во все стороны густым дымом – из продушин и из дверей. Огонь взялся за привычное дело – начал усердно нагревать выложенные сводом-печурой гранитные каменюки.

* * *

Пока баня топилась, Егорко сделал попытку собраться к завтрашнему походу. Вынес из прохода на повесть отцовский пестерь, пахнувший лесом и дичью с косачинными и рябчиковыми перьями на днище. Взялся собрать какую-нибудь одежду – не получилось. Он не знал, чего брать, а чего не надо, если идешь в лес надолго? Какую еду, и где ее взять? Матери нет рядом, и некому подсказать. Егорко еще никогда не уходил из дома так далеко, да еще и на несколько дней.

Но пришла из бани бабушка. Увидела разбросанные на полу, на лавках драные, старые братовьи штаны и рубашки и наругала внука:

– Ничего-то ты, Егорко, не толкуешь! Давай-ко, батюшко, садись-ко сюды, а я буду ска-
зывать, чего брать, а чего не надоть. Пока байна настаиваичче.

Она порылась в местах, где лежала одежда, хоть и ношенная, зато выстиранная матерью, пахнувшая чистотой.

– Кладешь сперва рубашку нательну да кальсонишки. Это, когда испотешь весь, на пере-
девку. Опосля гляди: рубашка вязана. Это, когда ночью изба выстынет, оденешь. Вот чепец
тебе батьков. В лесу нельзя без шапки. С лесин много чего на голову падают, чепец-от и оборо-
нит. Вот косоворотка для работы, опять, когда обмокнешь, ли спотешь ли – тоже на передевку.

Феклиста глянула на босые Егоркины ноги:

– Обувка кака у тя на ноги?

– Не знай, баба, я думал босиком...

– Вот ты, шально место, не знашь, а ето перво дело – обувка. В лесу-ту, брателко мой,
босы ноги сразу и истыкашь чем-нинабудь. Коренья, да сучья... Беда! Искровишь лапы свои...
Есь у тебя чего?

– Вот бахильчи, да лапти стары батьковы...

– Не-е, нельзя. Тут так понимать надоть: бахилы зальешь, и будешь водой хлюпать.
Тяжелы бахилы с водой... Тебе, Егорушко, надо бы стары бахилы обрезки натить, дырявы.
Оне в самой раз – в воду ступил, ноги замочил, и топай дальше, вода сама вытечет. Лето чичас,
не холодно всяко. Зато можно везде ступать, ноги не обранишь.

Феклиста поразмышляла, покачала головой:

– Ладно, огудан, дам я тебе свои шаршаки. Тебе в самой раз и будут. Мне-то куды тапе-
рича? Отбегалась я по лесам...

– Вот, баба, хорошо ето, хорошо.

* * *

Когда Феклиста ушла, Егорко пошел за ружьем. Последнее дело – ходить в лес без ружья.
Дичина какая выскочит, а ты с пустыми руками. Да и не страшно в лесу с ружьем.

У отца была «Берданка». Старинная, разболтанная во всех соединениях, но надежная
и легкая. Егорко снял ее с гвоздя на повети и занес в избу. Намотал на конец самодельного
шомпола промасленную тюленьим салом тряпку и протер ствол. Вынул затвор и посмотрел на
свет в ствол. Тот был во вполне надлежащем состоянии – за ним с отцовской стороны всегда
был надежный пригляд – ствольная поверхность тускло и ровно отсвечивала матовым светом.

Отец всегда выговаривал в таких случаях:

– Дырка есь, значит, пулька вылетит!

И почему-то всегда сильно дул в ствольную дырку.

Егорко тоже дунул и сказал то же самое.

Снаряженных патронов было всего только два. Остальные отец распулял на глухаринных
да на косачинных токах. Страсть как любил он это дело. Была бы его воля – на них бы он и
жил. Ну, два, так два. Теперь заряжать поздно. Поднес один к уху, потряхнул – звук сыпучий и
звонкий. Значит, мелкая дробь – «пшенка». Отец держал ее для чирков да для рябчиков.

Жалко, не оказалось пули на случай, если вывалит медведяра. Егорко закатал бы в него
пулю-то.

«Ничего, – думал он, – зато ружье имеется. Медведь самого вида ружья боится. Не выва-
лит, струсит он, трус тот ишше...»

Так ему рассказывал отец.

Егорко поднял берданку, решительно передернул затвор, прицелился в окошко и нажал на спусковой крючок. Затвор щелкнул.

– Во-во! – сказал сам себе Егорко удовлетворенно. – Работат оружие!

Вот так он хряпнет по медведю, ежели тот осмелится напасть.

* * *

Страхи Божии! Как Егорко не любил жаркую баню! Когда отец брал его с собой на помывку, он посиживал, скрючившись, на нижней полке и слушал, как отец, развалившись на самой верхотуре, кряхтя, повизгивая, выкрикивая какие-то несурзные вопли, хлестал сам себя веником по всему телу и еще поддавал и поддавал жару.

– Ы-ы-ы! – кричал он. – Ед-дрри в маковку! Крепко зацепило! А ну-ко ишше ожедер-нем! – И плескал из ковшичка кипятка на раскаленные каменья. Потом скакал на середку пола, подпрыгивал и обливал себя из ведра холодной. После всего этого выскакивал он в прохладу предбанника, лежал там на лавке минут пяток, сладко там стонал... А потом опять забегал на верхний свой полоч...

Егорко поглядывал на это форменное смертоубийство, ежился и... завидовал. Как бы ему вот также с жару – да в ледяную воду.

А сейчас он пришел один, без отца. Посидел в предбаннике, поразмышлял... Горестные то были мысли, и Егорко всплакнул. Все теперь одному... Он не был готов к тому, что отца теперь не будет совсем...

Надо теперь быть в доме хозяином. Все делать без него и за него. И даже в баине мыться, как он. Так положено. В доме должен быть мужик.

Егорко разделся и вошел в парилку. Постоял в тяжелой жаре, скрестив на груди руки, с прижатым ко груди подбородком. Маленько попривыкнув и прокричав «у-у-ухх ты!», ринулся на верхний полоч. Честно выдержал там секунд десять, больше не смог. Жар впился в тело, в каждый его сантиметрик, ударил вовнутрь, под кожу, ожог все печонки, глаза, уши, перехватил дыхание...

Егорко сдался и сошмыгнул вниз, на пол. Схватил ковшик, булькнул его в ведро с холодной водой, зачерпнул полный и выплеснул все себе на голову. Потом еще и еще... Выскочил в предбанник... Сидел там и глубоко дышал. А сердце стучало и стучало, и молоточки колотили по вискам... Не получается у него пока по-отцовски, не получается...

Он открыл дверь в парилку и долго выпускал жар. Зашел, когда стало просто тепло. Помылся.

Баня победила его, Егорко не смог ее одолеть.

Уходя, он повернулся лицом к ней и сказал мужицкие, твердые слова:

– Все равно, баинка, попарюсь я в тебе! Некуда не денется ты, таперича я твой хозяин!

Так и знай, голубушка, вот чего.

* * *

Спал он у бабушки Феклисты, намаявшийся за день, усталый мальчик.

Свой дом Егорко накрепко закрыл, так, как закрывают свои жилища все поморы: просто приставил к двери батожок. Через этот батожок никто и никогда не переступит и не войдет без спросу в дом.

Феклиста проводила его за деревню, до самого леса. Здесь начиналась тропинка на Сярт-озеро. На ней отчетливо виднелись следы большой группы людей, недавно здесь прошедших. И сам Егорко хаживал уже когда-то тут до Самосушного озера.

– Вот туто где твоя matka и топала, – сказала Феклиста.

Они посидели на маленьком угорышке, поглядели на деревню, лежащую за полем, за Белой рекой. Отсюда виднелись темно-серые крыши, расположенные рядами вдоль морского берега, и само море, сейчас, спозаранок, еще не всклокоченное резвыми летними ветрами.

В деревне орали петухи и дружно мычали коровы. Это колхозное коровье стадо выбрело со скотного двора на выпасные пажити. На море темнели очертания черных карбасов, вышедших на проверку сельдяных и семуужих неводов.

Начинался рабочий день.

Баба Феклиста все покачивала головой. Не согласна она была с затеей внука одному пойти в дальнюю дорогу. Наказывала:

– Ты, Егорушко, не сворачивай с дорожки-то некуды. Все поди, да поди, как она бежит, туда и ты. С ей отвороток нету. А закружашь, дак не робей, не бегай шальком по лесу, не убивайсе, а то силенки быстро потеряшь. Все одно – выскочишь к любой речки, ли к ручейку ли – вниз по теченьицу-то пройди, дак оно тебя, баженого, к морюшку-ту и приведет. Вся вода из лесу в мори текет. А там уж и дом, у моря-та!

Она посидела, повертелась на угорышке, с сердитым видом постучала своей палочкой по стволу корявенькой сосны:

– Ты вот што, парень, ведмедя где встренешь, дак не бойси ево. Ему самому озарко тебя увидеть, сам и умильнёт первёхонькой.

– А я, баушка, из берданки батьковой на его как нацелюсь, дак он и перепужаичче, проклятой, убежит в лес, оне боячче ружей-то, мне папа сказывал...

– За зайцами, за птичками не бегай, все равно не догонишь. Только время в затрату уйдет. И дорогу потеряшь.

Феклиста подумала, чем бы еще надоумить внука, поглядела в ту сторону, куда ему предстояло уходить.

– Штё ишше... Как к озеру-то выскочишь, к Сярти-то, там салма будет, проливина, не широка она. Ей надоть будет переплыть. Скинь одежду, оставь на берегу и переплыви. Плавать-то умеешь, аль нет?

– Всяко уж умею.

– Ну вот, на том бережку, маленько в лесочки, увидишь избу. Людев в ей нету, все на покоси. Опосля будут. Напротив, на бережку карбасок с веселками. На ем сходи за одежкой, да за пестерьком своим. Карбасок поставь на место, штобы сенокосы тебя не кастили.

– А откуда ты все знашь-то, баба Феклиста?

– Дак, ети пожни искожня наполовину наши были. Я тама с измала босиком бегала. Все мной исхожено с батькой да с маткой...

Она постояла, пожала старыми плечиками. Ей не хотелось уходить в деревню одной.

– Матке своей, Агафьюшке, поклон мой передай. Всем баженым тоже скажи, ште им баушка Феклиста кланялась.

Она тяжело привзнялась с бугорка.

– Ну, побегай с Богом, внучок.

И, глядя на его, уходящего, крикнула вдруг:

– Погодь-ко, парнишко. Погодь!

И неуклюже заторопилась, посеменила к нему скрюченными ногами. Подошла, обняла, прижала к себе. Зашмыгала, перекрестила.

– Ты вот чего, Егорушко, побереги ты себя, паренечик. Ты ведь один внук у мня, остатней. Сиротинушко. Ежели с тобой чего, я ведь помру тогдысь, стара бабка. Земляна старуха...

И Егор ее тоже крепко обнял. Он ведь сильно любил свою бабушку.

* * *

Шагал он быстро. От деревни до Сярт-озера четыре часа ходу, но Егорке хотелось поскорее попасть туда, чтобы наконец-то встретиться со своей мамой. За несколько дней разлуки он по ней сильно соскучился.

Ребята в деревне не очень-то любят, когда кто-то из них так привязан к своей мамке. Таких называют «подподольщиками», «хвостами», а то и чем-нибудь похлеще. В общем, всяко называют. И Егорко побаивался эдаких кличек. Но поделаться с собой ничего не мог. Он любил свою мать беззаветно и готов был снести ради нее любые прозвища.

Тропа была непростой. То с горки на горку, то надо было пересекать вязкие места, то кривлялась она промежду деревьев, как змеюка какая. Егор, тем не менее, нигде не спрямлял путь, старательно ступал на дорожку, истоптанную сенокосами. Опасался он потерять ее, вертлявую. Только пару раз отошел маленько в сторону. Когда проходил мимо озера, вдоль проблескивающего через листву и хвою серебра воды. Эти места были ему знакомы. До сюда он хаживал со своим отцом.

Тут могли быть утки!

Он не удержался. Воткнул в край дорожки палку, на нее сверху повесил свою кепку – это была метка, чтобы не потерять дорогу. И свернул к озеру.

Егорко повторил все, что ему когда-то показал отец. Из-за деревьев, из-за кустов подкрался к береговым зарослям, перед самой водой раздвинул ветви, осторожно просунул между них ружье, потом лицо и огляделся, нет ли поблизости уток. В глаза била солнечная дрожь водной ряби. В этих ослепительных, радужных брызгах разглядел прыгающие силуэты двух уток, снующих между кувшинками.

Стрелять или не стрелять? Впрочем, у Егорки сомнений не возникло. Отец бы, конечно, подстрелил утку и принес на сенокос в общий котел.

Он оттянул затвор берданки, положил ствол на веточку куста и прицелился. Прямо на мушке, среди желтых цветов кувшинок, в гуще ярких блесков солнечной дорожки плескались и резвились в озере ничего не подозревающие утки.

Егорко нажал на спусковой крючок.

Приклад сильно стукнул в плечо. В глаза ударила вспышка выстрела, полыхнувшая из ствола. Глаза невольно зажмурились.

И вослед вспышке бьющие по воде хлопки крыльев в панике улетающих уток.

– Промазал!

Егорко поднялся ошарашенный такой неудачей, положил берданку на плечо и побрел к дорожке. Представил, какие слова сказал бы ему сейчас отец? Наверно, ничего бы не сказал, а только покачал бы головой, махнул бы рукой и побрел бы куда-нибудь прочь от него, мазила... Егор уже переживал такие моменты. Горькие они и противные... У тропинки он присел на кочку и погоревал. Все, одного патрона у него уже нет. Одного из двух. Один только и остался. Хоть бы его не потратить впустую. Как тогда от зверья отбиваться?

Но в другой раз выскочил на дорожку заяц, увидал мужичка с ружьем, да как сиганул в сторону. Как тут удержишься? Руки сами подняли берданку, палец сам нажал на спуск. Опять шарахнул выстрел... И в глазах замелькали белые лапы стремительно улетающего зайца.

«Неужели опять профукал?»

Егорко с бешено стучащим сердцем пошел смотреть то место, куда должна была ударить дробь. Понимал, конечно, что не найдет там ничего. Ничего и не нашел.

Что тут поделаешь? Мазила он! Как есть, мазила, пустое место, а не добытчик. Если будет и дальше так стрелять, наголодаются они с матерью, лесной дичинки-то и не попробуют...

С такими вот мыслями положил он ружье на плечо и уныло побрел дальше.

Теперь, оставшись совсем без патронов, Егорко оказался один на один со всем лесным диким зверьем, безо всякого сомнения, обитающим среди кустов да деревьев в великом множестве. Темные сгустки сучьев в кронах елок и сосен, возвышающиеся по сторонам дорожки вывороты деревьев, черные, торчащие из земли корневища казались ему злыми чудищами, готовыми в любую минуту напасть. Егорко наставлял на них ружье, целился и, состроив страшную физиономию, злобно, гортанно выговаривал:

– Чего это ты, гад, рожу-то на меня выпятил! Я чичас вот пульну в твое рыло пулей, дак узнашь у мня! Кокну, да и все! Поди-ко прочь, змееватик!

Он одолел уже большую часть дорожки и все поджидал, когда же начнет она спускаться вниз, к озеру. Ему так сказывали, что в конце пути будет этот спуск. И вот тут навстречу ему попала Евлалья, молодая колхозница. Она вывернулась нечаянно-негаданно из-за деревьев. В коротких бахильцах, с закатанным выше колен, выпцветшим подолом старого сарафана, раскрасневшаяся, запыхавшаяся. С видно что пустым и легким пестерьком на спине. Беленькая косынка ее сбилась на затылок, отчего волосы слегка растрепались. Лицо красное и... доброжелательное, как у большинства деревенских женочек. Выбежала навстречу, всплеснула руками и, крикнув:

– Ох, темнеченько-то мне! – как шла, так и села на бугорок.

Сильно, видно, испугалась встреченного неожиданно мужичка с ружьем. Вгляделась и заулыбалась:

– Ак, ты ште ли, Егорушко? Ты-то во стрету-то мне и попал!

– Я, кто ж ешшо, – важно, по-мужицки ответил Егор. Так положено в лесу встречаться мужику с женочкой, а не прыгать от радости, не собачка он маленькая всяко.

– Ак, куды наладилсе-то, паренечек?

– К мамы иду, в сюземок. Помогать тамогде нать.

– О, дак я оттуль и попадаю...

И поведала Евлалья, что «травишша в сем годе страшенна», что «работушку надоть будет на два дни продлить, потому как не поспеть убрать ето сенишшо, как хотелось, за четыре-то ноченьки. Надоть все шесь»...

– А Агашка, матерь-то твоя, с нами и робит. Вся исприбилась, бажена. Все скоре да скоре ей надоть. Парень, грит, один у мня в доми-то осталсе... А ты-то сам-то к ей и бежишь. Вот уж ей радость-то будет...

И Евлалья с удовольствием чмокнула пару раз губами:

– Работнича она самолучша, матка твоя...

Поморский порядок требует поинтересоваться, куда и зачем идет человек? И Егорко спросил:

– А ты-то почто в деревню летишь, тета?

– Ак, хлеба-то мало будет на эстолько-то ден. Сам разумешь всяко. А ишше две косы хрупнули, о каменя треснуты... Надоть замену принести. Косари стоят, ждут меня.

Уже убегая, поинтересовалась:

– А дробовку-то почто ташшишь? Дичину каку чикнуть?

– Не-а, ошкую боюсь, озарко мне без ружья-та.

– Рад он тебя порато... Не бойсе ты его, Егорушко. Он первой в штаны наложит, ежели встренутесь. Я дак в умах не вожу.

И вдруг она всполошилась, у нее было еще много неперделанных дел:

– Карбасок-от на место поставь, паренечок.

И умчалась в деревню с пустым своим пестерьком.

* * *

А вот это была уже забота-заботушка! Лодку в самом деле надо будет возвращать, а значит – самому голышом переплывать на другой берег.

Он спустился к Сярт-озеру. Перед ним лежала салма, не широкий пролив посередке озера. А по бокам – справа и слева раскинулась серо-голубая озерная ширь, убегаящая к дальним, темным полосам лесов, в легкой ряби падающего с боку на воду летнего ветра – шелонника. С белыми облаками, улетающими за горизонт, утыканный острыми вершинами высоченных елок.

На берегу, в конце дорожки, стоял уткнувшийся носом в песок тот самый карбасок. Был он привязан за веревочку к тоненькой прибрежной березке, словно бычок, вернувшийся с прогулки и ждущий теперь хозяев.

Егорко поднял из кормы старое дырявое ведро с помятыми боками и вычерпал из лодки воду. Это всегда первое дело. Положил на заднюю банку свою поклажу, поставил в нос берданку и оттолкнулся от берега, переплыл озерную проливину.

На противоположном берегу никого не было. Только пошумливали на ветерке желтая треста, да кричало на елках растревоженное воронье, охраняющее подросших уже птенцов.

Лодка с легким шелестом напозла носом на берег. Егорко посидел на банке, послушал звуки – лес, озеро, ветер. Голосов косарей не было слышно. Значит, все они и его мама – где-то далеко. Сходил к сенокосной избушке, там тоже не было никого.

Значит, надо все делать и все решать самому.

Он занес свой пестерек в избушку, оставил там в сенях, на него сложил и одежду. Остался в одних трусах. И пошел опять к озеру, к лодке. Столкнул ее с песка и на веслах переплыл на другой берег. Привязал лодку к березке.

Егорко все сделал так, как бы поступил любой мужик из деревни – оставил карбас человеку, который потом придет на озеро и которому нужна будет переправа.

А сам ступил в воду и поплыл к избушке, к одежде, к маме.

Плавал он по-собачьи и совсем худо. В другой раз испытал бы он жуткий страх от дикого, неведомого лесного озера, от одиночества в этом огромном, чужом пространстве, в котором никогда раньше не бывал, от опасной, глубокой водной бездны, которую надо было преодолеть во что бы то ни стало.

Но впереди его ждала, очень ждала его мама, и встречи с ней он тоже ждал со всем своим детским нетерпением. И страх сам собой куда-то уходил.

Движение получалось трудно. Егорко перебирал перед грудью руки, согнутые в локтях, загребал воду по себя, загребал... Долго и тяжело работал ладонями... Наконец, стало казаться ему, что стоит он на месте, и берег, к которому хотел он приплыть, оставался все также далеко, не приближался.

Руки, наконец, совершенно устали. Егорко понял: еще маленько и все... И он не знал, что ему поделать с этой усталостью. Она мешала ему приплыть к матери, доплыть...

Заливший руки свинец давил и давил, тянул в глубину его маленькое тело.

И в этот последний момент своей беспомощности увидел Егорко лицо своего отца. Спокойное, доброе, спасительное.

– Помоги ты мне Христа ради, папа! – взмолился он, прокричал из последних сил с уже залитым водой ртом. – Тону ведь я!

И отец помог. Проговорил спокойно и твердо:

– Помнишь, сынок, показывал я тебе, как на спине можно отдыхать? Переворачивайсе-ко, да ложись на спину.

И Егорко перевернулся и сразу стал опять тонуть.

– Ты тело свое, парнишко, вытяни, да руками, да ногами его поддърживай! Как будто выталькивай маленько себя из воды...

Отец был рядом и учил, учил...

И Егорко отдохнул. Лежать на воде оказалось совсем не сложно.

– Есть силенки? – спросил отец через какое-то время.

– Есть, папа, есть! – радостно ответил ему Егорко.

– Ну, теперь опять давай-ко на грудь вертайся. Плыви, пока снова не опристанешь.

Егорко снова поплыл по-собачьи. Так он отдыхал и плыл, отдыхал и плыл. Отец все время был рядом, подсказывал.

Вот и берег. Егорко выполз на песок и оглянулся, чтобы встретиться взглядом с отцом, заговорить с ним опять. Отца с ним больше не было.

Потом он долго лежал на берегу, потому что сильно устал. Наконец поднялся на колени, сел на траву и, уткнув лицо в колени, заплакал.

Ему было бесконечно жаль, что отец, бесконечно любимый им человек, опять куда-то пропал, снова исчез из его жизни.

* * *

Он пошел в сенокосную избу, где в бригаде заготовителей сена жила в эти дни Агафья, его мама. Никого там не было.

На полу лежал березовый голик – кто-то не успел подмести пол. На столе грудой лежали непомытые кружки, миски и ложки, посередине стола – большая кастрюля и железный чайник, черный, обгоревший, служащий этой избе верой и правдой многие годы.

Егорко сполоснул железную кружку и налил в нее из чайника холодный, настоявшийся на брусничном листе чай. Жадно его выглотал: очень ему хотелось пить. Посидел, подумал: что же дальше-то делать? Никого пока нет, но он-то здесь! Он пришел сюда, в избушку, в которой царит кавардак. Он должен быть вместе со всеми, должен помогать!

И Егорко начал помогать.

Собрал он со стола в висевший на гвозде в сенях веревочный куток всю грязную посуду и отнес к озеру. Там песком и травой всю ее отшоркал, сполоснул озерной водой и отнес чистенькую в избу. Оттер стол мокрой тряпкой и уложил посуду рядком по самому его краешку. Получилось красиво – стол заблестел и как бы обновился.

Потом Егорко взялся за пол. Сначала подмел его голиком, затем взял из угла половую тряпку, чохнул на пол два ведра озерной воды. Кое-как оттер замызганные доски. Еще раз пролил на пол чистую водицу и вытер тряпкой насухо.

Мамина и бабушкина школа мытья полов не пропала даром.

Устал Егорушко. Прилег на нары на минутку – так он решил – и проспал крепким сном, наверно, долго: намаявшийся маленький его организм нуждался в отдыхе.

Разбудила его хлопнувшая входная дверь и женский возглас:

– О, дак хто ето тутогде полеживат? Какой-такой мужичок?

В тускловатом предвечернем свете, посреди лесной избушки стояла какая-то молодуха. В старенькой, драной вылинявшей кофте, в неопределенного цвета такой же драной юбчонке, в скособоженно повязанном платочке. Спросонок Егорко не узнал ее.

– Ты ли ето, Гошка? – спросила женочка.

– Угу, – отвечал он, – я ето и есь.

– Ак ты откуль взялсе-то, шально место?

– Из деревни, откуль ешшо.

Егорко уселся на краешек нар и начал протирать сонные глаза.

– Ак, сам ште ли прибежал?

– Ну.

Женочка присела на лавку и изумленно раскрыла рот:

– Са-а-ам! Как не забоялсе-то? Страшно ведь одному-то, страшно ведь!

– А чего, у меня дробовка вон...

– Малой ведь ты совсем, Гошка. Одному через лес...

Егорко понурил голову и сказал:

– К мамы я хочу. Вот и пошел...

– Ак, меня-та не признал ште ли, паренек?

Егорко уставил на женочку глаза и видел только одно – что-то родное, деревенское.

– Не, тета, не признал.

– Дак я ведь Татьяна, Олеши Новоселова, дружка твою матка.

Она вдруг остановилась посреди пола, растопырила по сторонам руки:

– А матерь-то твоя, Агафьюшка-та, где-ет тебя, где-ет! Быват, ште и поревит, как ждет...

Тут Егорко вспомнил ее. Она еще чаем его угощала, когда он приходил к Лешке в гости по какому-то рыбацкому поводу.

Хорошая она, Татьяна, и добрая. Повела она ему, что в сенокосной артели имеется у нее еще одна «роботушка» – быть поварихой. Вот она и пришла пораньше, до того, как косари да гребей закончат сегодняшнюю работу. Надо сготовить ужин.

– Ох темнеченько-то, радось-то мне кака! Ты-то, голубеюшко, спомог-от мне как! Вон уж, подиткосе, полдела за меня сробил! – причитала она и громко радовалась. – Ну, придут, дак всем расскажу про тебя, про работничка!

Вместе они развели костер. Егорко бегал за водой к озеру и обратно, снова за водой, ходил в прилесок за сушняком, рубил сучья топором, подтаскивал к кострищу, помогал чистить и варить картошку... Оксенья пошумливала, похохатывала, разворачивалась бойко и ухватисто. Звонкий ее голос улетал в озерные и лесные дали, звенел в пространстве.

– Эка бяда-а, крупы маловатенько осталось, не хватит на все дни... Зато картошечка-та есь у нас! А мы с ей-то и проживем сенокосье. С голодухи-то всяко уж не помрем! Проживе-ем, Гошка!

Когда прозрачный июльский вечер размыл своей легкой акварелью очертания деревьев, когда наплывающая белая ночь наинула на озеро, на лес и на людей воздушное серебряное покрывало, лес вдруг заполнился звуками. То были голоса косарей, возвращающихся со страды. Вот разноцветная толпа замелькала в прореженных просветах деревьев.

Вот на опушку вышли люди.

Егорко матери сразу не увидел, но побежал к ним. Мать разглядела его первой, выбежала к нему из толпы. Опередила всех.

– Егорушко, сыночек! Ты откуда тут?

Она обняла его, прижала к себе и встала перед ним на колени. От нахлынувшего волнения, от радости, захлестнувшей грудь, она не могла стоять. А Егорко прижался к маме, обхватил шею, заплакал навзрыд и только и смог сказать:

– Я, мама, соскучилсе по тебе! Страхи Божьи как...

И люди все ему обрадовались. Подошли, окружили, назадавали вопросов:

– Как там мои?

– А мои как?

Егорко был для них доброй весточкой из деревни, от их жилищ, от родных.

Вечер был теплый, и работники не пошли ужинать в избу.

Усталые, они сидели вокруг костра, стучали ложками о миски, ели кашу, пили брусничный, несладкий чай и вели негромкие разговоры. И легкий ветерок уносил их слова вместе с

вечерней росой в распахнутый, прозрачный простор озера и мягко опускал на успокоившуюся к концу дня воду, в которой отражалась закатная ярко-рыжая заря.

* * *

Подъем в сюземке в пять утра.

Егорко проснулся на нарах вместе со всеми. Косари лежали на полатах вповалку, рядком, друг за дружкой. Вставали дружно, хотя и постанывали, и кряхтели. Но собрались быстро.

Вышли.

Сам сенокос был в километре от избышки. Егорко полусонный, расслабленный радостной встречей с матерью, брел позади всех и нес маленькую косу. Самую маленькую. Она по размеру не подходила ни к одному из работников и была взята на всякий случай, «для запаса». Вот и пригодилась. Егорко нес ее радостно, с гордым видом равного со всеми косаря.

А косить он не умел совсем. Ох, какое же это тяжелое и хитроумное дело – скашивать траву косой-горбушей! Попробуйте поработать, скрючившись в поясице, поразмахивать ею несколько часов подряд, долго и нудно срезать тяжелую густую траву! Не получится без сноровки и упорной тренировки. А тут девятилетний мальчик...

Но Егорко очень хотел помочь своей маме. Ну и, конечно, внести свой посильный вклад в общее дело деревни, в колхозное дело!

Его поставили выкашивать кулиги – затемненные, спрятанные в уголках пожень участки. Косари стараются не углубляться в них – слишком суетельное и непродуктивное это занятие – ковырять траву во всяких там узких отворотках. Ставят на них обычно тех, от кого мало толку на суземных просторах – слабосильных или неловких работников. Егорко как раз таким и был.

Матери некогда было его обучать. За него взялся сам бригадир Перелогов, напористый, доброжелательный мужик.

Он подвел парнишку к довольно широкой кулиге, глубоко уходящей в лесные заросли, и сказал:

– Смотри-ко, Гошка, как надоть!

И пошел с косой вперед.

Перелогов подошел к краю кулиги, крепко взял рукоятку косы двумя руками, склонился над травой, сделал широкий замах влево и резко секанул правую сторону.

– Р-р-раз, – сказал он громко.

Тут же в продолжение полета косы пошел замах вправо:

– Два-а!

И пошел махать, передвигая вперед одну за другой ноги:

– Р-раз – два! Р-раз – два!

Поверженная трава ровными пластами ложилась перед ним по обе стороны.

Обернулся, повернулся к Егорке и приказал:

– Таперича пробуй сам! Давай-ко, колхозничок!

Егорко стал пытаться повторить движения бригадира. Наклонился, секанул в одну сторону. Кончик косы уткнулся в корневища травы, застрял в них. Еле-еле удалось выдернуть лезвие из тугих сплетений. Замахнулся с другой стороны. На этот раз воткнул косу в землю.

– Не пойдет так дело, – сказал бригадир совсем без укоризны, – ну, дак и не тушуйсе, парнёк, сперва не у кого не идет справно. Ты давай-ко присматривай получше, да и повторяй.

Он поправил косу брусочком и стал терпеливо показывать, как держать ее в руках, как делать замах, как следить за тем, чтобы лезвие срезало траву над самой землей, а «не прыгало туды-сюды».

– Чем ближе к земельке, тем длиннее трава, а, значит, и сена больше, да зарод толше. Не режь травку в серединку, а режь во весь росток!

Егорко долго пыхтел, пока у него стало что-то получаться. Бригадир потом подошел и оценил:

– Ты, Гошка, справной мужик-от! Вон травы навалял эстолько! Больше, чем я, куды мне до тебя-та!

Егорушко, хоть и понимал, что немилосердно перехваливают его, а все же маленько загордился.

– Ты, дружок, заканчивай-ко кулижку-то, да, когда зашабашишь, дуй-ко на речку. Надоть окуньков косарям на уху наудить. Все на каши сидят, бажены, да на картошки. Надоели оне, страхи Божьи! Удить-то умешь?

– Умею, а как же, – важно сказал Егорко.

– Ну а умешь, дак и валяй.

Перед уходом на речку Егорушко глянул на пожню, на косарей. Средь высокой травы, между разноцветьем женских сарафанов и платочков сверкали на солнышке и повизгивали лезвия кос и журчали ручейки разговоров и переключек женочек, мерно покачивающихся в ритмах косьбы и медленно уходящих по своим прокосам в луговую даль. Среди них была и его мама.

* * *

Бригадир и подсказал, где взять готовую уду. Она стояла прислоненная к одинокой березе, на обрывчике над речкой, впадающей в Сярт-озеро. Там же, в консервной банке, спрятанной между торчащих над землей корневищ, хранились и навозные черви, припорошенные жирной черной земелькой, накрытые свежей зеленой травкой, живые и ядреные. Все это хозяйство какой-то заядлый рыбак приготовил, но воспользоваться пока что не смог, потому что вместе со всеми был на сенокосе.

Егорко любил рыбалку. Еще прошлым летом он приноровился удить ершей на деревенской Белой реке, и его семья постоянно хлебала и нахваливала уху из его рыбешки. И его, Егорку, нахваливала, а уж как ему это нравилось!

– Добытчик растет у нас, – говаривал отец, – завалил батька с маткой свежей рыбой!

Он взял уду, выбрал червяка пожирнее и с трудом наживил на крючок – такой тот оказался верткий.

– Ты у меня, брат, повертись ишше, повертись, некуда ты все равно от рыбака Егора Ондрича не денешься, а будёшь рыбу мне ловить. Так и знай! – сообщил червяку Егорушко и забросил удочку.

Довольно споро он натаскал окуней – штук шестьдесят. Окунь клевали без устатку. Наверно там, на дне омута, их были сотни, а то и тысячи. Егор принес от избы старое, дырявое ведро, сложил в него рыбу и отнес стряпухе Татьяне. Вот уж она обрадовалась:

– Слава те, Господи, дитятко, не ведала уж я, чего и варить-то нонеча. Все кончаичче. А ты, Гошенька, рыбы навалил эстолько!

Взяла она из избы два наточенных ножичка, переделанных из сломанных кос, и они с Егоркой понесли окуней на озерный бережок.

Там рыбу почистили, да промыли. А потом, когда до прихода косарей оставалось совсем немножко, Татьяна навела уху. Попросила рыбака приготовить для засыпки картошку.

«Да шток нетолсту шкурку сымал».

Достала из общего мешочка соль, вытащила из газетного кулечка какие-то травы и высыпала все это в кипящую уху... Сидела рядом с котлом и все распробывала, доставая варено деревянной ложкой, фыркала, причмокивала. Потом закатила глаза, секунду поразмышляла и наконец твердо сказала:

– Кажись, готово!

Котел висел над углями на перекладине, ждал едоков, от него исходил невероятно вкусный дурман, заполнивший все окружающее пространство. Егорко, голодный, похаживал вокруг, вдыхал этот аромат и вздыхал, и страдал. Ему очень уж хотелось, чтобы наконец пришли с пожень косари, чтобы вместе с ними сесть у костра...

Нагрязнули наконец они, хмурые и голодные. Но на подходе запотягивали носами, заулыбались:

– Эт чево у тебя, повариха, за кушанье за тако? Вкуснотишша-та кака! Чего, бажена, наварила-та?

А та и рада ответить:

– Не меня хвалите, а благодетеля нашего, Егорку Агафьиного. Он, батюшко, рыбы наловил, да начистил. Я-та чего, сварила, да и вся недолга...

Потом артель сидела на бережке и нахваливала Егорку и нахваливала. И мама его, Агафья, очень рада была за своего сыночка за то, что растет он тружеником, и за то, что народ им доволен.

И Татьяну тоже хвалили. Она посиживала около костра раздумываясь от добрых людских слов, довольнешенькая.

Егорко был на седьмом небе. Ему хотелось еще чего-нибудь сделать для артели полезное. Только не знал, чего.

И висел опять над избушкой, над людьми, над костром, над лесом и озером длинный, тихий, слегка пасмурный вечер, наполненный звонкими колокольчиками трелей лесных птах, трескотней кузнечиков, легким шелестом маленьких волн, засыпающих в прибрежной траве.

* * *

Познал Егорушко в сюземке всякий труд по заготовке сена. Косил он траву, научился косить не хуже других. Только силенок у него не хватало для широкого и могучего мужицкого замаха. Освоился, как сноровистее сгребать подсохшее сено, и вместе с гребями-женочками широко и легко орудовал граблями. Особенно приноровился он участвовать в постановке зародов.

Мужики-металычики нанизывали на вилы огромные охапки сена и с бодрыми покрякиваниями забрасывали их на возрастающий зарод. А Егорко с какой-нибудь легковесной сноровистой женочкой ждали охапку наверху. Подхватывали они сено, раскидывали по верхушке зарода и утанцовывали – уминали. Задача заключалась в том, чтобы уложить его ровно, не утяжелить или не ослабить какой-нибудь бок, не скособочить весь зарод. От уминальщика и зависит, простоит ли он всю зиму один в лесу, не рухнет ли от ветра или от гнета снега.

– Поберегись! – кричали мужики и с кряканьем, с уханьем наваливали на самую верхушку громадную кучищу сена. И Егорушко с напарницей раскидывали ее по всей верхушке, и все повторялось сначала.

Когда вилы у мужиков переставали доставать до уложенного верха, Егорко выхаживал по зародовой «крыше» мерными шагами, из конца в конец. Высматривал, все ли стороны ровно уложены, уминал, выравнивал укладку. Потом кричал вниз:

– Имай работника!

И прыгивал с зарода. Его подхватывал кто-нибудь из мужиков. Он ловил, обхватывал его руками и обязательно падал вместе с Егоркой. Лежал с ним и выговаривал:

– Ну, Жорка, ну и велик ты стал! Равзе удёржишь эку тяжесь!

И мужики, стоя вокруг, дружно и весело смеялись.

Потом все обходили зарод вокруг, разглаживали его граблями, выравнивали...

И стояли теперь они, красивые, ухоженные эти зароды, по всему сюземку.

Зимой, когда в ледяной корке будут стоять реки и озера и толстый, утрамбованный ветрами снег уляжется на уснувшей, промерзлой земле, сюда придут из деревни пустые подводы, запряженные колхозными лошадами и крепкие, озябшие мужики вилами перебросают сено в дровни. Утопчут, умнут его, перемотают веревками пухлые возы. И лошади под бойкие вскрикивания своих возниц уволочут сено в деревню. Там его уложат в копны и стога в ометах, что рядом со скотным двором, с конюшней. И будут кормить колхозную скотинку-животинку всю зиму и всю весну. И будет продолжаться деревенская жизнь.

* * *

За эти жаркие дни и душистые вечера сенокосной страды насмотрелся Егорко всяких разных цветных картинок крестьянского бытия, подивился сложности человеческих отношений и проник в такие сердечные глубины, которые были немыслимы для его понимания совсем недавно.

Деревенская жизнь казалась простой и понятной. И люди, его односельчане, тоже были обыкновенны, и тоже понятны и просты. А теперь, по прошествии всего нескольких дней и ночей пребывания в сюземке, обыкновенные деревенские люди оказались куда как заковыри-стее, с совсем необъяснимыми для него поступками, каждый со своими привычками, со своим норовом. Оказалось, что жизнь эта вовсе и не обыденна и не так уж размеренна, и что в ней множество загадок, разгадать которые ему пока что было не дано.

Понасмотрелся Егорушко, понаслышался всякого и разного, много чего в себя впитал. Открылись ему невиданные раньше картины человеческих отношений, сложные, противоречивые, раскрылись разные характеры. Впервые увидел он и воочию осознал, что и люди в деревне живут совсем не похожие друг на друга, чего он до этого просто не замечал.

И эти новые впечатления запомнились ему навсегда, и память о них он пронес через всю жизнь.

* * *

Плехает и плехает в сторонке о берег озерная волна. Над сиреновой от дальнего заката водой, над прозрачным покрывалом вечерней росы, распростертым над озером, висит-покачивается тонкий серебряный серпик луны. Отмеривает кому-то долгий век неугомонная кукушка. И кто-то, словно не устающий плотник, стучит деревянным молоточком о сухое дерево. Это черный дятел-желна долбит своим желтым клювом верхушку просохшей, давно умершей ивы.

На лежащем на траве толстом стволе упавшей березы сидят двое косарей, два уставших после тяжелого дня молодых парня. Слушают кукушку, глядят на озеро, разговаривают. Вечеряют.

— А и не жалко тебе его? Дядька ведь наш с тобой... Семейку егонную всю таперича угнали. А почто? Жалко ведь, загибнут тамогде оне в голоду, да холоду... Сывтыкар, бают, какой-то. Змерзнут оне...

— А чего ето змерзнут? Можа, тамо где теплынь кака стоит? Можа, радуичче он в том Сытывари, али как там его...

— Да-а, теплынь... Тебе бы таку... Вон, Олександр-от Лукич помер уж тамогде. Написал кто-то... С тоски, да с холоду.

Помолчали они. Тот, который задавал вопросы, все переминался на бревнышке, не сиделось ему.

– Почто ты ето, Федька, письмо-то написал на мужика-та? Наврал ведь в ем, все наврал... Его и замантифонили куды-то. Жалко мне его, не виноват он не в чем, дядя-та наш... Помрет семья.

– А я ето смышляю, чего ты морду свою от меня воротишь, двоюродник? Откуль остуда промежду нами пошла? Из-за дядьки, значит...

– Оттуда и есь!

– Да-а, не виноват... А ты вспомни, Тимоня, как matka моя копейку у него просила на новы сани. Дал он ей? Вот, и не дал. Сестры своей! Надо-то было сколько-то рубликов... А ишше сказал: пускай, грит, мужиченко твой сам робит, а не на печки полеживат.

– Ну а ежели батько твой попиват, дак чего? Не соврал дядька-та. А ты сразу письма писать...

– А и чего? Мироед он и есь! Кулачья морда! Все ему больше всех надоть было. Три коня, да две коровы... Куды естолько?

– Дак он ведь сам и гробилсе над имя. Да на поли, да на сенокоси... Сам все. Не коналсе не у кого... У людей не канючил.

– Сам, да сам! Заталдычил... Нечего было гогольком хаживать по деревни, в хромовых сапогах. Погляньте на его, люди добры... Вот таперича пушай в Сутыкари своей походит. Там ему покажут хромовы сапожки...

Так сидели и мирно судачили они, колхозные парни на берегу засыпающего озера, под серпиком луны, среди шелеста травы и пения ночных птиц. Двоюродные братья.

* * *

Пелагея Маезерова, самолучшая гребея, колхозная звеньевая, крепкая женочка, вдруг занемогла. Рабочий день подходил к концу, и солнышко, спустившееся с зенита к самому закату, уже цеплялось за острые концы самых высоких елок, а она вдруг закричала раненой лебедушкой. Ничего не предвещало беды. Пелагея, особенно не торопясь, переваливала тыльником граблей к уже почти сметанному зароду тяжеленную кучу сена – и на тебе: встала на колени, обхватила двумя руками живот и повалилась на бок. Женочки сгруппировались вокруг, стояли и не знали, чем могут помочь?

– Дак чего оно с Пелагушкой-то тако? – спрашивали друг у друга.

– Ак, она цельной день сегодня приплакивала, чего-то у ей болело. Не знамо чего, робила, да робила, всяко с ног не падала...

Так рассуждали колхозницы. А Пелагея поднялась вдруг на нетвердые ноги, поглядела вокруг вытаращенными, видно, от боли глазами и с громкими стонами, держась за живот и качаясь из стороны в сторону, направилась в ближний лесок.

Она так шла, поднимая и резко опуская правую руку, несколько раз крикнула:

– Не ходите за мной не хто! Не ходите!

Но двое все же пошли – свекровка ее Наталья, да троюродница Алевтина. Та уж не могла не пойти, крепко она всю жизнь любила Пелагею.

– Ште оно с ей тако приключилось, с женочкой нашей, – судил-рядил народ, – кака-така лихоманка?

– Ребеночка она несет, – знаю я... – сказал кто-то.

И все замолчали.

Пелагея родила прямо тут, в лесочке. Роды были скоротечные, с обильной кровью. Был выкидыш.

Женщины ей, как могли, помогали.

Пелагея сидела на земле с окровавленным подолом, держала на ладонях маленького человечка.

– Вон, уж не шевелится. Перестал, – сказала спокойно троюродница, – помер он.

А Пелагея сидела, растопылив колени, держа в руках мертвое свое дите. И плакала навзрыд, и плакала.

– Говорила я ему, змееватику, куды ты меня гонишь, несущая ведь я... А он, проклятой, нечего, говорит, ты баба крепка, стерпишь...

Она не знала, куда положить, куда девать мертвого ребеночка? Но из рук его не выпускала, прижала к груди.

– Ты, говорит, лучше звеньева, куды без тебя... Надо, говорит, идти, пойдешь и не спорь... Не срывай колхозный план... Дурак проклятой! А я сено сгребаю, а у меня в глазах красные уголья... Вот и догреблась, без сыночка и осталась... Лучше звеньева...

Она посидела, постонала, потом умолкла и тихо сказала:

– Чего таперича мне Николай мой скажет? Он ведь сыночка-то ждал...

Не сдержала она рыданий, когда оторвала от груди окровавленный комочек. Аккуратно, как живого, положила в сторонку на травку, подошла к березке, стоящей рядом, и около нее вырыла руками яму. Обложила дно сухими сучьями и листьями. Подняла с земли крошечное тельце, расцеловала его всего и уложила на приготовленную постельку. Сняла с головы белый платок и обернула в него своего мальчика. Как в саван. Потом посидела над ним, постонала, как над родным покойником плачут поморские женщины, и завалила землей.

Похоронила.

Собрался вокруг народ. Ей никто не мешал. Все молчали.

А Пелагея склонилась над свежей могилкой. Сказала:

– Прощай-ко, ребеночек мой, любименькой!

И, подняв к небу рот, завывала смертельно раненной волчицей.

* * *

Он давно, с деревенской школы, любит ее, она его. Они любят друг друга – молодой колхозник Кирюха Долгов и столь же молоденькая колхозница Настя Шмакова. Об этом знает вся деревня. Гремит и гремит на камушках лесной ручей Мошница, где-то на озере оголтело квакают лягушки. Голоса влюбленных звучат приглушенно.

Они сидят рядышком на берегу ручья, глядят на воду, прижавшись друг к другу плечами.

– Ндрависся ты мне, девка, – горячим шепотом рассказывает Кирюха, – давно уж, у попа когда учились... Все я у тебя уроки списывал, штебы, значить, поближе к тебе быть.

Кирюха наклоняется немного вперед, вытягивает шею и заглядывает Насте в лицо. Долго на нее смотрит, хлопает влюбленными глазками, щурится. Физиономия у него счастливая и отчаянная. Он явно хочет сказать девушке нечто важное, давно выношенное.

– Люба ты мне, вот что. Обжениться хочу на тебе, Настасьюшка, страсть как хочу.

А та приотворачивает от него в смущении голову. Говорит как бы в сторону, кокетничает.

– А любя, дак и чево? Сватов-то чево не присылашь? Давно бы уж... Я ведь обжидаю...

Кирилл шумно вздыхает, говорит жалостливо:

– А матка моя бурчит. Грит, оне в богатстве живут, нам, грит, не ровня. Киселя кажин-ной день хлебают. Тебя, грит, Кира, за печкой держать будут. Им чево!

Настя куксится, теснее жмется к жениху, лаково-твердо выговаривает:

– А пусть оне попробуют на тебя... На мово желанного. Я тогда им устрою жись...

И Кирюха, крепкий парень, поднялся вдруг над землей, над травой, и девушку свою на руки поднял, и понес ее куда-то. Унес.

Егорко так и не понял, куда и зачем?

* * *

С полудня всем объявили:

– Завтра утром воротишше!

А это значит, конец сенокосу, все возвращаются домой.

И Егорко сразу побежал на речку, за окунями. Вся артель попросила его:

– Натаскай-ко, парнишечко, окуньков. Стрась как ушки напоследок похлебать хочче.

Он все успел, поспела и уха.

А вечером, на самом закате, косари и гребей закатали «отвальную».

На западной стороне во всю небесную ширь и высь полыхал оранжевый закат. И серые облака, окантованные золотой краской, были разбросаны по всему цветному пространству. Казались они стадом овец, разгуливающих по небесным пажитям.

Сенокосный народ, еще пару часов назад еле-еле принесший ноги с пожень, окончательно уставший, полуголодный, скрюченный тяжелым трудом, вдруг распрямился и поднял опять голову.

Народ наконец огляделся вокруг. И оказалось, что кругом шумит и колышется цветной лес, бушует вечная природа, блестит всеми красками озеро и щебечут птицы. И что вот уже завтра всех ждут родные очаги, свои хозяйства с тяжелыми, но необходимыми и близкими сердцу заботами, где звенят детские голоса.

Деревенский люд, нахлебавшийся свежей ухи, наевшийся ячменной каши, напившийся горячего чайку на брусничных, морошечных да клюквенных листочках, расселся вокруг костра на озерном бережку.

И, как всегда в такие минуты, русскому человеку захотелось петь.

Все вдруг, словно проснувшись, загалдели:

– Ну-кошь, ты, Онисьюшка, запой-ко давай чего-нинабудь, штебы сердечко проняло.

– Веселенько давай, веселенько! – подхватили сидящие поодаль.

Молодуха Онисья, первая запевала и деревенская красавица, поправила концы ситцевого цветастого платочка, разгладила их на груди... Распрямила плечики. Помолчала, оглянулась вокруг со смущенной улыбочкой, мол, не судите строго, ежели чего не так... Закрыла глаза и звонко и громко затянула:

Не бела заря занимаичче,
А то парень молодой разгуляичче
На угори как да на угорышки...

Она запевала, народ подхватывал. Все хотели попасть в такт, не у всех это получалось, потому что не все умели петь, у кого-то совсем не было голоса. Но после тяжелых сенокосных дней и ночей людям нужна была разрядка. И песня получилась громкой.

Когда она закончилась, стали просить:

– Ишше давай, женочка! Другу давай!

– А каку таку?

– А хоть бы и «косу оборочку» спой.

Тут Онисья встала, подошла поближе к огню, к середине сцены. Подбоченилась. Одна рука на поясе, другая, с платочком, поднята над головой. И пошла приплясывать в маленьком круге, да напевать:

Я стояла на угорочке,
Сарафан с косой оборочкой,

Сарафанчик раздувайчче,
Ко мне милый приближайчче...

Егорушко прижимался к материнскому боку, разморенный, уставший. Вокруг него сидели с раскрасневшимися лицами и громко распевали песни косари, раздухаренные веселой минуткой. Но шумное это разгулье его не возбуждало. Егорушку немилосердно клонило ко сну.

– Мама, – сказал он, – пойду-ко я да лягу.

– Поди-ко, дитятко, поди. Да и я к тебе скоро приду. Посижу только ишше маленько, послушаю женочек. Хорошо оне поют...

– Я не в избу лягу седни, а в сено, на улицу... Можно мне?

Мать понимала, что никакой угрозы для сына в этом нет.

– Ложись-ложись. Да не бойсе тамогде, я ведь рядышком буду.

И Егорко пошел в сено. Ему хотелось напоследок подышать воздухом пожни, которую он полюбил. Опираясь на колышек, по боковой подпоре влез он на ближний зарод, улегся на самой верхушке и нагреб на себя с боков высохшей, душистой травы. Так теплее будет проводить ночь.

Какое-то время лежал и думал. Думал он о том, что очень сильно любит свою мать. И еще о том, что не зря сюда он пришел, в этот дальний сюземок, что принес людям пользу, и в деревне теперь о нем будут хорошо говорить. Народ, наверно, скажет:

– Агафьин парень-от порато работающей. Рыбы наловил косарям, да сена спомог наметать благошко. Мужичок справной растет...

И было Егорке приятно от этих мыслей. С ними он и уснул.

И увидел во сне, как в высоком-высоком, прозрачном небе над ним среди неярких звезд белой ночи парили и парили, кружили в облачениях, расшитых светом, веселые ангелы. Их пушистые крылья трепетали на ветру. Посланцы небес, они трубели в длинные, точеные дудочки и дивным хором пели Славу Богу и Людям.

Слава в вышних Богу
И на земли мир,
Во человецех благоволение!

Спящий мальчик вслед за ангелами благоговейно повторял эти чудные слова молитвы. И было хорошо ему в этом сонном забытии. Не знал он еще тогда, что Бога и мир надо славить не только когда все вокруг благостно и умиротворенно, когда рядом любимая мама, когда все удается, и все любят тебя, а ты всех. Но и когда приходят невзгоды и трудности, попускаются испытания...

Все это вдосталь узнал Егорко в своей жизни и не устал любить Бога и человеческий Мир.

Огневой рубеж пулеметчика Батагова

*Посвящается моему деду Бадогину Егору Ермолаевичу,
пулеметчику Гражданской и Великой Отечественной войн, пропавшему
без вести весной 1942 года в Кестеньгской операции Карельского фронта*

В конце 1941 – начале 1942 года столица Советского Союза погибала под сокрушительными, умелыми ударами немецкого оружия, завоевавшего к тому времени всю Европу и почти всю европейскую часть СССР.

Однако именно тогда под Москву пришли дивизии, квартировавшие в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти свежие силы позволили Сталину и Ставке нанести внезапные, мощные удары по зарвавшемуся, обнаглевшему врагу. Наступление под Москвой отшвырнуло гитлеровские войска на полторы сотни километров от столицы. После долгих месяцев отступления эта долгожданная победа была заслуженным триумфом, но она, к сожалению, вызвала скороспелые, необоснованные надежды нашего командования на возможность быстрой победы над врагом. Сталин и Генеральный штаб пришли к убеждению, что враг не так уж и силен, что настала пора прогнать его с советской земли. И сделать это вполне возможно уже в 1942 году. Надо только организовать на ключевых направлениях несколько грамотных наступательных операций и в ходе их проведения перемолоть основные силы противника.

Сталинские стратеги и тактики взялись за выполнение поставленной вождем задачи, и весной 1942 года войска Красной армии приняли участие во множестве боев наступательного характера. Всех не перечислить, а среди наиболее крупных можно назвать Ржевско-Вяземскую операцию, Крымскую, Ленинградскую, Новгородскую, Киришскую, Харьковскую, Смоленскую, Мурманскую, Демянскую, Карельскую и другие.

К огромному сожалению, все они закончились для Красной армии чрезвычайно трагически. В безуспешных наступательных боях весны – лета 1942 года мы потеряли миллионы своих солдат убитыми, ранеными и попавшими в плен.

Главные причины тех военных катастроф были повсеместно одни и те же: крайняя непродуманность боевых действий со стороны советского генералитета, отсутствие четко поставленных целей и задач, недостаточная квалифицированность офицерского и генеральского составов, несоответствие уровня их военных знаний требованиям ведения современного боя, отсутствие координации между ведущими бой соседними подразделениями в силу отсутствия средств связи и вследствие неспособности командиров всех уровней осуществлять эту координацию, плохой уровень полевой разведки, и, следовательно, недостаточное знание противника, его сил, средств и боевой тактики. Кроме того, не хватало современных танков, самолетов, оружия и боеприпасов.

Не было недостатка только в одном: в проявлениях массового героизма со стороны советских воинов, желания победить смертельного врага любой ценой. Но этого оказалось недостаточно. Противник был умнее, хитрее, опытнее.

Карельский фронт тоже повел свои войска в наступление. Основной задачей, которая должна была быть решена, являлось: максимально отбросить противника от железной дороги и шоссе Мурманск – Вологда, по которым шла перевалка стратегических грузов из Мурманска в центр страны. Грузы эти морским путем доставлялись из Англии и США по договорам ленд-лиза и как воздух нужны были воюющему СССР. Важной частной задачей при этом было блокирование шоссе Лоухи – Кестеньга, со стороны которого противник мог нанести тяжелый удар по тылам советских войск, по железнодорожному узлу Лоухи и перерезать железную дорогу.

Наступление войск Карельского фронта под Кестеньгой быстро переросло в тотальное отступление. Массовый героизм советских солдат, проявленный в этих боях, разбился о реаль-

ное военное мастерство германских частей группы «Север» и финской 6-й пехотной дивизии, хорошо научившихся воевать к весне сорок второго года. Наспех сформированные, плохо обученные, полуголодные наши солдаты к тому времени воевать еще не научились. Успех и Победа придут к нам позже...

1

«Какая же это большая несправедливость: о тачанке красноармейской песня сложена, о винтовке сложена, о пулемете «Максим» есть песня, о сабле не одна песня имеется, о боевом коне, считай, добрая сотня песен поется, а где, товарищи дорогие, песня о вернейшем друге солдата – о боевой солдатской саперной лопате? Безобразие форменное!

В самом деле, куда в красноармейской жизни без лопаты? Любую ямку для всякой нужды поди-ко выкопай руками. Сотрешь пальчики! Убитого товарища в землю-матушку закопать надо? Как без этого! Опять же, в бою врагу башку проломить необходимо? И такое бывает... Ею можно и дрова колоть, и яичницу на ней жарить, когда яйца имеются...

А уж об окопе и речи нету. Окоп для пулеметчика – это первейшее дело для укрытия и пулемета, и бойца.

Такое дело получается: нет лопаты – нет и окопа. Выходит, что без лопаты все красноармейцы лежали бы на земляной поверхности, не укрывшись. А это означает, что враг легко бы истреблял их, не спрятавшихся в окопной глубине. Да, лопата – важнейший инструмент...»

Так размышлял рядовой Батагов, строя окоп для своего пулемета. Он ковырял саперной лопатой землю, потел и делал свою работу старательно, настойчиво и умело. Так работают люди опытные, хорошо понимающие толк в своем занятии.

А как копает землю его лопата! Втыкается в грунт, будто острый ножик входит в сливочное масло. Не зря он холит ее и лелеет не хуже пулемета системы «Максим», закрепленного за ним. Все время лопатка наточена, выскоблена, даже смазана ружейным маслом.

«Ну вот, я встречу какого композитора или же там поэта какого и скажу им:

– Зря это вы, товарищи дорогие, лопату нашу солдатскую стороной обходите. Это ведь такое же боевое оружие, как и винтовка. Вы уж, пожалуйста, поправьте это дело. Составьте о ней песню, а я первый петъ ее начну, хоть и петъ-то совсем не умею. Все и подхватят...»

Рядовой Силантий Батагов готовил свою боевую позицию. Он выбрал ее на пригорке, еще не просохшем от талой воды. Грунт был относительно легкий с примесью влажной глины, с мелкой прореженной галькой, с нетолстыми корнями кустов ивняка, можжевельника и лесных ягод. Окоп изготавливался споро.

Тем более что сам Силантий был старым солдатом и таких вот пулеметных окопов изготовил бесчисленное количество. Еще в Первой конармии Семена Михайловича Буденного. Там он воевал ротным пулеметчиком. А уж потом, ближе к концу войны, за природную крестьянскую сметливость, стойкость в бою и меткость в стрельбе переведен был в дивизионную разведку и, считай, весь двадцать первый год приписан к казачьему эскадрону, бывшему пластунскому. Там выделялся своей неумной лихостью: на легкой тачанке врывался в казачьи станицы, или в махновскую вольницу, или в боевые порядки белых, во все, что в Красной армии называлось контрреволюционной сволочью, и строчил из своего пулемета, строчил, строчил...

И не было случая, чтобы в погоню за его тачанкой не устремлялись конники, жаждущие расправы над этим наглым и зловредным красным пулеметчиком. И всегда он уводил погоню под встречный кинжальный огонь сидевших в засаде красноармейцев, под быстрый рейд разведчиков, имевших задачу захватить пленных, допросить языков.

За Гражданскую получил красноармеец Батагов грамоту на гербовой бумаге с печатью и боевое оружие – казачью шашку с позолоченной рукояткой от самого Семена Буденного. На лезвии у той шашки выгравирована была надпись: «Красноармейцу Батагову, храброму защитнику рабоче-крестьянской власти от командарма-один Буденного».

Шашка эта висит теперь в Ленинской комнате начальной школы, которую закончил Силантий в давние-давние годы, и ее дают подержать в руках ребятам, вступающим в пионеры и октябрята...

И раньше, и теперь Батагов делал пулеметный окоп не как положено в боевых инструкциях, а по-своему.

Сначала он вырубал лопатой углубление в грунте на ширину пулемета в виде плотно утрамбованной полки. На этой полке пулемет и устанавливался. Силантий внимательно следил за тем, чтобы с боков пулемет был едва-едва виден, чтобы только была щель для бокового обзора. Силантий предусматривал всегда еще одну хитрость. На случай особо плотного огня, артналета или бомбежки он выкапывал еще одну «полку», которая располагалась ниже и скрывала под землю весь пулемет. И он сам, и его оружие, таким образом, прятались надежно на момент наиболее тяжелых обстрелов.

Вот поэтому Батагов, будучи пулеметчиком, по которому в первую очередь бьют все снайперы противника, пулеметы и минометы, а также и артиллерия, пройдя множество боев, до сих пор оставался жив. Поэтому он не жалел ни времени, ни сил на изготовление надежного окопа.

– Батагов, ты чего тут строишь, подземный бункер?

Силантия окликнул стоящий рядом младший сержант Алешка Ждан, хороший парнишка из города Онеги, командир его отделения. Он с превеликим интересом разглядывал и Батагова, и строящийся окоп, и было видно, что в самом деле сильно удивлен.

Кого другого рядовой Батагов вдругоразье послал бы подальше или вообще не стал бы разговаривать, но тут нельзя – все же какой-никакой командир, хоть и сопляк совсем. Силантий сел на земляной выступ в строящемся окопе, молча, медленно достал из галифе вышитый женой кисет, из нагрудного кармана вытащил оторванный от газеты обрывок, небрежным, но выверенным движением вытряхнул на него из кисета щепоть махорки, указательным пальцем ровным слоем растормошил его по краю газетного огрызка. Затем так же медленно и сосредоточенно скрутил сигарку, выпятил во всю ширину край языка, облизал краешек бумаги, склеил его с сигаркой, чиркнул спичкой, медленно поднес огонек к кончику сигарки. Плавленными потяжками раскурил. Вынул сигарку изо рта, внимательно оглядел, как раскурилась она, как раздымилась.

И тогда сказал:

– Ты, сержант, желаешь, наверно, чтобы меня первая же пуля убила? Чтобы я, старый солдат, боевую задачу свою не выполнил?

И выпустил из груди большой клуб белого дыма.

Конечно, при другой ситуации, когда находились бы рядом другие бойцы, разве стал бы гвардии рядовой Батагов величать гвардии младшего сержанта Ждана на «ты»? Нет, конечно.

Но сейчас они были одни. А, кроме того, Силантий был старше этого сержанта в два раза с хвостиком. Ему сорок один год, а тому всего-то девятнадцать с мелкой прибавкой. Но младший сержант и не кочевряжился. Он и сам понимал всю разницу. И потом наслышан был о геройском прошлом Батагова. Ему такие подвиги и не снились.

– Ты, сержант, лучше обрисуй мне как следует боевую задачу. А то ни комбат, ни ротный, ни даже наш взводный Ишутин толком ничего не объяснили. Меня с моим вторым номером выбросили здесь, на развилке, а я до сих пор не знаю, с кем буду воевать, с какими такими силами, чего и откуда мне ждать? Как прыщ на голой заднице. Может, танки на меня попрут, а я тут сижу с пулеметиком. Очень они меня испугаются. В самый раз мне бронетехнику громить из калибра семь шестьдесят два.

Младший сержант стоял под старой ольхой, раскидавшей весеннюю свою красу густо и вольготно. И на плече мальчишки лежала ветвь пушистых сережек и украшала его новенькие эмблемы. Старая ольха, как старая женщина, вспомнив свою давнюю юность, нежно прикасалась к молодой мужской красоте.

Яркие лучи весеннего солнца, отраженные от перемешанных с талым снегом луж, от свежей зелени, от облаков, били Ждану в лицо, в глаза, в веснушки. Он щурился, отворачивался, но ему необходимо было провести инструктаж с пулеметчиком Батаговым, своим подчинен-

ным, и тогда, чтобы прекратить поток слепящего в глаза света, он напялил на лоб командирскую фуражку, и его голубые глаза выпрыгивали теперь из-под упавшего на них козырька.

– Вот, товарищ Батагов, я и послан командованием разъяснить вам складывающуюся обстановку.

«Командование – это наверняка означает командира их взвода лейтенанта Ишутина. Серьезное командование, – подумал Батагов, – стратегическое».

– Наша вторая рота шестнадцатого батальона шестьдесят восьмого полка двадцать третьей стрелковой дивизии действует по левому флангу наступательной операции вдоль дороги Лоухи – Кестеньга. В результате активных наступательных действий нашей роте удалось выдвинуться от точки начала наступления и вклиниться в расположение противника на расстояние пяти с половиной километров. Боевые порядки роты располагаются отсюда примерно в тысяче ста метрах.

Младший сержант поднял руку вверх и бросил ее в направлении вдоль дороги, туда, где залегла рота. Он стоял на земле твердо, широко расставив ноги, и держал в руках командирский планшет. Он читал карту, на которой были нанесены красные (наши) и синие (противника) стрелы. И докладывал боевую обстановку четко и грамотно, словно на экзамене в сержантской школе, которую закончил совсем недавно.

«Тебе бы полком командовать, сержант, – подумал о нем Батагов, впрочем, вполне уважительно. – Пожалуй, из этого сержантика в самом деле может вырасти хороший офицер».

Конечно же, улавливал Батагов, в этом докладе большой процент бахвальства. Наступательный успех и их роты, и всех идущих вперед порядков шестьдесят восьмого полка получался не из доблестного умения воевать – того-то было явно маловато, а из малопонятной инертности противостоящих полку финских частей. С незначительным сопротивлением они отходили эти самые пять с лишним километров. Но сейчас, похоже, остановили отход, ошетились, плотно закрепились на скалистой возвышенности, пересекающей линию наступления, и встретили роту плотным огнем. Это ясно проглядывалось на карте, которую Силантий тоже внимательно рассмотрел.

– Противник, понеся большие потери, окопался по всей линии нашего наступления, укрылся на скалистой местности, – складно рапортовал младший сержант Ждан. – Конечно, мы его слоим, но временно мы остановились, нужна небольшая перегруппировка сил.

Батагов и сам давно уже понял, что никакого наступления больше нет. Там, куда ушли его однополчане, стояла относительная тишина, лишь изредка прерываемая винтовочными хлопками да короткими автоматными очередями.

– Ладно, – сказал Батагов, – чего ради ты ко мне-то прибежал, сержант? Война-то там, у вас, а у меня, как видишь, тихо все.

– Ваш пулеметный расчет занимает особо важную, стратегическую позицию. Он выставлен, как вы сами это видите, почти на перекрестке шоссе и грунтовой проселочной дороги, идущей из территории, занятой противником. Для нашей роты, выдвинувшейся вперед, это очень уязвимый участок. С этой грунтовки в наш тыл может прорваться и живая вражеская сила и даже бронетехника противника...

– Послушай, Ждан! – вспылil пулеметчик Батагов. – Я и сам давно все это понял. Но уж если вы там такие великие стратеги, скажи тогда, как же вы меня, своего бойца, оставили одного со вторым номером – молокососом и с пулеметиком воевать против танков? Тебя не учили разве, что пулемет системы Максим не пробивает танковую броню? Где пушки, где противотанковые ружья и гранаты, где подкрепление? А если финны и в самом деле сюда пойдут? Ты прибежишь спасать меня, сержант?

Ждан захлопнул планшет, просунул в металлическую дужку кожаный хлястик и снял с плеча солдатский вещевой мешок.

– Ну ладно, ладно, Силантий Егорович, – сказал он примирительным тоном, – не надо считать себя брошенным бойцом. Командование о вас заботится и помнит о вас.

Он поставил увесистый «сидор» между ног, опростал лямки, засунул руку в чрево мешка и достал одну за другой две тяжелые противотанковые гранаты.

– Это оружие надежно защитит ваш пулеметный расчет от возможного нападения броневой техники противника, – сказал он назидательным тоном и положил гранаты на край строящегося окопа. Помолчал, потом добавил: – Извините, но у нас у самих в целой роте только одна пушка сорок пятого калибра и совсем немного гранат. И мы тоже ждем танковой атаки противника.

Потом младший сержант поправил фуражку, выпрямился и добавил уверенно и твердо:

– Но мы знаем, что вот-вот должно быть подкрепление. Из полкового резерва. Так что ничего, продержимся.

Он улыбнулся:

– Где наша не пропадала! Продержимся!

И ушел быстрым шагом в расположение роты.

2

Когда началась война, колхозник Силантий Егорович Батагов прочно «сидел на броне». Он был главным бухгалтером колхоза «Промышленник». Это означало, что, разразись самая лютая война даже на подступах к их деревне, его все равно не призвали бы в армию. Потому как колхозное хозяйство – основа основ экономического могущества всей страны. И куда колхоз без надлежащего учета и контроля, без бережного обращения с трудно добываемой всем гуртом денежкой, без добротной бухгалтерии?

А Батагов был неимоверно дотошным и даже занудным, скряжистым бухгалтером. Ему и самому трудновато доставалась копеечка. Тем более что тянул он немалую семью: двух бабок по отцовской и материнской линии, беременную жену, двоих дочек-подростков, помогал, как мог, сестре-инвалиду. После Гражданской перепробовал несколько специальностей: был простым рыбаком, потом бригадиром, служил в лесничестве, работал заведующим конюшней... И нигде денежка не плыла сама в карман. В конце концов победило еще детское увлечение все считать, умножать и делить в уме. В школе по арифметике имел одни пятерки. И, когда колхоз искал кандидата, кого бы отправить на курсы счетоводов, напросился сам. Потом никогда об этом не пожалел. После курсов, будучи колхозным счетоводом, ни разу не подвел ни председателя, ни колхоз. Дрался за каждую колхозную копейку, как за свою собственную. Спасал руководство от всяких авантюрных предложений, сыпавшихся справа и слева, доказывал на собраниях, что будет выгодно, а что нет. Колхозники и председатель были спокойны за бюджет и всячески, на всех уровнях нахваливали своего счетовода. Ругали лишь за один недостаток: слишком крут, суров и беспощаден был Батагов ко всякого рода стяжателям, хапугам и авантюристам. В запале мог и в рожу дать прямо на колхозном собрании. За это его и погнали в свое время из колхозных бригадиров и с заведующего конюшней.

Главным бухгалтером он стал скоро, через год работы простым счетоводом. И надо сказать, это была его должность, заслуженная, почетная и справедливая.

Все сломалось, когда началась война. Потоком пошли на фронт из деревни молодые ребята, а затем и взрослые мужики. Пришли первые «похоронки», стал переливаться со двора во двор бабий вой по погибшим мужьям, по сыновьям.

Силантия повестки обходили. Но с каждым днем зрела, росла в нем злость на самого себя: почему он не на войне? Почему он, здоровый и умелый старый солдат, отсиживается за спинами колхозных женок да пацанов в тихой деревне, а земляки и одногодки гибнут на войне? По ночам все чаще приходили к нему картины лихих налетов на врага, снился верный и надежный пулемет «Максим», который не подвел его ни разу в отчаянные минуты смертельных стычек, ставший родным, знакомый до винтика. Снились ему кровавые, но славные сабельные бои, лица однополчан, живых и убитых...

И Батагов стал проситься на фронт. Одно за другим послал в Приморский военкомат четыре письма с просьбой отправить его в действующую армию. Писал, что имеет боевой опыт и награды. Узнал потом, что военкомат запрашивал в отношении его мнение председателя их колхоза, но тот возражал категорически.

Потом все вышло само собой.

В какой-то поздний вечер возвращался он домой с работы и у самого дома повстречал соседа Веньку Барму. Тот был крепко выпивши, а потому вел себя нахально и язык у него был развязан.

– Ты, пулеметчик, чего по врагу не строчишь? – спросил у него Венька.

– Я вижу, ты тоже не в окопе сидишь, а ходишь по деревне с пьяной рожей.

– Дак я-то, Сила, народу нашему пользу несу, зверя добываю, мясо да сало, а ты посиживаешь в конторе на стульчике, задницу трешь. А народ наш на фронте погибает. Не стыдно тебе, а, Сила?

И Силантий не удержался. Дал соседу в морду. А потом еще дал и еще... Когда поднимался на крылечко, слышал за спиной кровавые всхлипы Вени Бармы:

– Посчитаюсь я с тобой, Сила, посчитаюсь. Попомнишь ты у меня...

Барма был давним врагом Силантия Батагова. С молодых годов он пытался ухлестывать за первой красавицей деревни Феклистой Воронихиной. Но та его отвергла и вышла замуж за не шибко красивого, но крепкого, надежного и работающего парня Силантия. И Барма не любил Батагова смертельно, неотвязно, навечно. Он был злопамятен, сосед Вени Барма, и где только мог, как только мог, гадил Силантию. Тому это крепко досаждало, но он старался не обращать внимания на соседские козни.

А сейчас Венька был в колхозе знатным зверобоем, добывал гренландского тюленя на лежках в большом количестве, удачно ловил нерпу в ставные «юнды» и тоже был на «бронь».

Барма свое обещание выполнил и написал куда надо письмо, где изложил, как главный бухгалтер колхоза «Промысловик» Силантий Батагов, пользуясь служебным положением, таскает мешки с зерном из колхозного склада и путем хитрых махинаций уводит деньги из колхозной кассы.

И Батагова увезли в район, где уполномоченный госбезопасности прямо его спросил:

– Почему ты так себя ведешь, контра недобитая? Почему ты воруешь народное добро?

Силантий к такому обращению не привык, и поначалу он, деревенский мужик, сидел с открытым ртом и тарасил глаза на уполномоченного.

– Даже не знаю, чего тут и сказать... – выдавил он оторопело.

– А тебе, сука, и говорить ничего не надо. Все нам о тебе, гнида вражеская, известно.

– А чего известно-то? – пролепетал вконец растерянный Батагов. Люди часто теряются в таких ситуациях. И он растерялся тоже. Кроме того, он всегда уважал и даже любил органы государственной безопасности. Считал их совестью революции.

– Вот! – уполномоченный рывком выдернул ящик стола, вытащил из него измятый листок бумаги и швырнул его на стол. – Данные получены из надежного источника. Мы проверили, все подтвердилось.

– Чего подтвердилось-то? Вы хоть прочитайте мне.

– Нету у меня времени, чтобы читать о твоей мерзкой диверсионной работе. Одно скажу: источнику мы полностью доверяем. Проверенный источник.

«Получается, что Венька Барма у них надежный человек! – обреченно размышлял Батагов. – Как же они тогда работают, коли верят таким гадам-стукачам, как этот трепло Венька?»

На столе зазвонил телефон. Уполномоченный схватил трубку.

– Да, понял. Иду, сейчас буду.

Он вскочил, собрал бумажки в папку, закрыл на ключ сейф.

– Ладно, контра, посиди тут, вызывают меня. А мы подумаем, что с тобой делать дальше.

Он вышел и отсутствовал минут десять. Все это время в кабинете, около двери на стуле сидел часовой с винтовкой.

Силантий притулился около стола, скрючился. Он сидел опустошенный и равнодушный. Ему было жалко, что нет рядом его пулемета.

Уполномоченный вбежал в кабинет и плюхнулся на стул. Он сидел какое-то время молча, опустив плечи.

– Ты это... кха, кха. Оказывается, вы, Батагов, народный герой у нас. Интересно узнать такое, неожиданно...

Он стряхнул с плеч досаду, выпрямился, открыл принесенную папку и достал из ее недр маленькую бумажку.

– Это повестка в военкомат. Через два дня явитесь. Икупите, так сказать, свою вину в боях с врагом.

Не поднимая глаз, он желчно, тихо пробурчал:

– Повезло тебе, счетовод. Буденный тебя знал... А то гнил бы у нас, пока б не сгнил.

Так в феврале 1942 года колхозный бухгалтер Силантий Егорович Батагов оказался на Карельском фронте и начал боевую службу в качестве пулеметчика в составе 23-й гвардейской стрелковой дивизии.

3

Второй номер пулеметного расчета Николай Борисов явился, когда день перевалился на другой бок, а потом потихоньку, мелкими шажками начал шагать к западу.

Он был развеселый сейчас, этот молодой парень родом из петрозаводских рабочих. В расположении части он навестил всех своих дружков, позубоскалил, погоготал, побазарил о том да о сем. И даже как будто приложился маленько к положенной для бойцов на время боевых действий «наркомовской» водочке. Глаза его брызгали на Батагова и на окружающий белый свет буйной удалью и молодым нахальством. Пилюлька кое-как прилепилась на затылке, ремень был до невозможности ослаблен, и бляха болталась совсем уж на боку.

Батагов любил Кольку Борисова, этого трепача и шалопута. Любил за легкий характер, за незлобивость, за желание и умение выполнить любую работу в любой обстановке, за честность и храбрость. Не зря он выпросил его к себе в расчет у взводного командира Ишутина.

– Краса ненаглядна, – сказал ему Батагов, – из каких же таких далеких краев занесло тебя сюды, солдатик?

С совершенно невинной физиономией Борисов доложил своему командиру пулеметного расчета, что «боевое задание выполнено, разведка произведена, оружие и продовольствие доставлено».

– Да не наблюдаю я ничего такого пока, рядовой Борисов. Покажи-ка мне добычу свою.

Борисов быстренько снял с правого плеча винтовку, сунул ствол в перекрестие веток росшей рядом березы, приклад мягко ткнул в землю. Только потом по его левому плечу заскользили вниз лямки солдатского вещмешка. Он сел на круглый валун и, развязывая «сидор», докладывал своему командиру боевую обстановку:

– Я как насел на старшину нашего Олейника! Чево, говорю, мол, вы свой родной пулеметный расчет бросили не знамо где и ни продуктами не снабжаете, ни боеприпасом? Финны с немцами вот-вот попрут, а мы голодные и ни патронов в достатке, ни гранат. Где же ваша совесть, мол, боевая?

– А он чего в ответ? – Батагов, видя, что Колька вернулся не пустой, придвинулся к нему поближе, расположился на полувросшей в землю мягкой коре трухлявой березы.

– Хохол он и есть хохол, жадничать начал да хитрить. Скоро, говорит, подкрепление подойдет, мол, вас и заберет. Обойдетесь, говорит, тем, что дадено вам уже.

– Дак чего нам дадено-то? Ничего же нету! – завозмущался Силантий.

– Во-во! И я ему про то же. Говорю, мол, нам же совсем ничего и не дадено. Ни еды, ни патронов. Чем воевать? А потом сказал ему, придурку, что ежели наш боевой расчет боевую задачу свою не выполнит, тогда вы, мол, товарищ старшина, за все в ответе и окажетесь. Вот тогда-то тебя, старшина, в штрафроту-то и упекут, а то и кокнуть могут за невыполнение боевой задачи.

Батагов понимал, конечно, что Колька чересчур крепко раздухарился в своем бахвальстве. Попробовал бы он так в самом деле разговаривать со старшиной Олейником. Сатрап тот еще... А уж кулачищи у него... Но был у него большой интерес к увесистому «сидору», который приволок Колька.

– А он чего?

– А куды ему деваться? Повел меня в блиндажок свой, в ямку, где все добро у него заскларировано. Бери, говорит, тильки маленъко-маленъко. А сам, хохлятская морда, сзади стоит, подсматривает, чего бы я, мол, лишнего не заграбастал.

– И чего ты там набрал, Коля? – Батагову крепко хотелось поднабить чем-нибудь пустой желудок, и кадык его ходил ходуном. Говорил он теперь с напарником ласково, по-отечески.

– А вот...

И второй пулеметный номер стал доставать добытое в неравной схватке со старшиной роты богатство.

Он извлек из бездонного «сидора» две банки тушенки, буханку хлеба, пачку махорки, две головки сахара и поставил все это богатство на край бруствера. Батагов, про себя, конечно, одобрил расторопность помощника, но, как и подобает опытному бойцу, кисло хмыкнул:

– И что, это все?

– Это, командир, не все, – сказал Батагов, закатив загадочно глаза. Опять он полез в свой вещмешок и вытащил из глубины его пулеметную коробку, до отказа набитую лентой с патронами. И две тяжелые противотанковые гранаты.

– Вот это дело, – одобрительно закивал Батагов, – а то и патронов у нас мало, и гранаток этих не хватало. Молодец, Колька, не зря в роту смотался.

– А теперь, командир, следующим номером нашего цирка показываем фокус-мокус. Видал ты такие ли, не знаю, но вот гляди.

И Николай Борисов еще раз, уже последний, засунул граблистую свою пролетарскую ладонь в жерло бездонного «сидора», весело вытаращил глаза, крикнул «алле – оп!», как кричат во всех цирках фокусники и клоуны, и вытащил на свет Божий солдатскую флягу. Держа ее на вытянутой руке, он потряс ее в воздухе. Во фляге что-то явно булькало. В ней содержалась какая-то влага. При этом, исходя из игривого настроения Кольки Борисова, это была скорее всего не вода, а что-то более существенное.

– Неужели водочка? – спросил командир пулеметного расчета Батагов.

– Она самая и есть! – радостно ответил ему второй номер этого же расчета Борисов, бывший петрозаводский рабочий.

– Ну, тогда накрывай на стол, Колька. Это дело надо отметить!

Потом они, два бойца Красной армии, сидели на окопном бруствере и смаковали принесенную водочку. Рюмок у них не было: боевой устав не предусматривает такой посуды для рядовых бойцов. Но бывалый служивый человек Батагов вырезал из березовой коры две полоски, ловко конусообразно их загнул, хитро скрепил концы – и вот вам очередной фокус – две полноценные рюмочки, вполне пригодные для полевого застолья.

Рюмочки эти сразу же пошли в дело. Вот пошла первая, а за ней и вторая...

Над их головами в ветвях деревьев звонко и знобко посвистывал прохладный ветерок карельского мая, забивал ноздри мягким ароматом вылупившейся на березах и рябинах клейкой зелени. В лесу, в сырых низинах, в затемненных густым ельником местах лежало еще много снега, поэтому со всех сторон на их поляну дышала лесная прохлада. И медленно-медленно на землю откуда-то из самой дальней небесной выси опускался прозрачный вечер конца северной весны. Пронзительно-тонко тенькали и посвистывали лесные вечерние птицы, перебивали своими песнями журчание струящихся повсюду весенних ручейков.

Подуставшие от долгой казарменной жизни Батагов и Борисов то и дело отрывались от разговора, от своих чарочек, от тушенки, вертели по сторонам головами и с выпученными глазами разглядывали обрушившуюся на них весну. Весна была прекрасна и звала бойцов в свои дома, где, наверно, так же бушевали ручьи и заходились в трелях птицы...

Первым от этого великолепия оторвался Колька Борисов. Он повернулся вдруг к Батагову, помолчал, покачал головой и полез к нему с вопросом, крепко, видно, в нем сидевшим, тревожившим его.

– Не понимаю я, Силантий Егорович, нашего наступления, странное оно.

– Чего эт ты, Коля, засомневался в нашем наступлении? Мы идем вперед, враг отступает. Все правильно вроде.

Николай, несмотря на свое малолетство, все же не был совсем уж салагой: он призыва весны сорок первого, то есть довоенного. Значит, кое в чем уже разбирался.

– Не понимаю я наших действий, и врага тоже не понимаю. Все не так, как должно быть.

Он поведал суть своих сомнений.

Неведомо ему было, почему их полк около пяти месяцев не вел никаких действий, фактически отсиживался на боевых позициях. А теперь вдруг всех подняли и сразу повели в наступление.

– Никакой учебы ведь не было, никакой боевой тренировки. Только плац, да «бей прикладом, коли штыком!». А как воевать, я и не знаю. Они врага за дурачка держат, а я шибко сомневаюсь, что он дурачок. Вон как воюет, сволочь...

Батагов отвернулся от своего второго номера, от Кошки. Вот ведь как! Молокосос совсем, а сомневается точно в том же, что и он, старый боец. Силантий не был никогда командиром, наверное, плоховато разбирался в окружающей боевой обстановке, но по своей, по солдатской правде много чего понимал.

В самом деле, подготовки к наступлению почти не было. Люди, особенно призванные из тыла, совсем мало обучены. «Каждый солдат должен понимать свой маневр», – любил повторять суворовское правило командарм-один Семен Буденный, бывший его командир. А тут не понятно ничего. Их рота прошла несколько километров на левом фланге наступления, не встречая почти никакого сопротивления. Враг как будто заманивал их в свою неведомую ловушку.

Было похоже на то, что наступление уперлось в какую-то крепкую силушку. Сможет ли одолеть ее рота, в которой одни необстрелянные мальцы? Чем воюет эта силушка? С каким оружием пойдет?

Чутье старого солдата подсказывало Батагову, что стоящий перед ротой враг хитер, силен, и тяжело будет совладать с ним. Что он, будто крупный, лютый пес с оскаленной кровавой пастью лежит в кустах и ждет команду, чтобы броситься на наступавших и растерзать их всех.

И вопрос этой атаки – просто вопрос времени. Скорее всего, не большого.

Еще одна тягостная забота тревожила душу Силантия.

Из всех разговоров, состоявшихся у него с солдатами и офицерами, понял Батагов, что у его роты, считай, нет совсем связи ни с батальоном, ни с полком. А есть она только через посыльных да вестовых солдатиков. Где сейчас находится сосед справа – их батальон? Отстал он или ушел вперед? Какие от него следуют команды? Не надо быть большим командиром, чтобы понимать: когда идешь в бой, ты должен знать, как собираются воевать соседи слева, справа, спереди и сзади. А если нет связи? Это означает, что рота должна отбиваться от врага одна.

А как им с Борисовым воевать в такой непонятной обстановке, как не наделать ошибок?

В подход каких-то там резервов Батагов не верил еще с Гражданской. Он вообще никогда не верил в чужую помощь, особенно, когда это опасно для жизни того, кто помогает.

Его также сильно тревожила позиция, на которой был выставлен его пулеметный расчет.

Они с Борисовым стоят на проселочной дороге, ведущей в тыл их роты со стороны, занятой противником. Конечно, и финнам, и немцам, противостоящим им, все это прекрасно известно. Здесь может пойти вражеская разведка или диверсанты, да мало ли еще какие силы. Главное то, что по этой дороге очень возможно пойдет враг.

А защищает эту дорогу только он, Батагов, и его второй номер Коля Борисов. А оружия у них только вот этот пулеметик, да одна винтовочка, да пара гранат.

Не густо для серьезного боя.

...И наваливались и наваливались на сердце Силантия тягостные думы, словно наплывали с севера холодные, темные тучи и закрывали небо непроницаемой пеленой. И будто бы своей тяжестью отодвигали от него образ поморской деревни, реки, милой женушки, дочечек и уносили этот образ в дальние-дальние дали, за черные туманы, куда ему, Силантию, будет невозможно когда-нибудь дойти.

– Ладно, Колька, – сказал, отринув тяжелые думы Батагов. – Заканчиваем посиделки и на боковую. Завтра бой нам предстоит.

Они выпили по последней рюмочке, доели тушенку из банки, и Силантий приказал:

– Разобьем дежурство на две части. Ты, Коля, берешь первую половину ночи, а я после четырех утра – вторую.

И Батагов завалился спать под густую ель на свежую, постеленную толстым слоем хвою. Он положил под голову сложенный вчетверо пустой рюкзак, укрылся солдатской своей шинелью, нахлобучил на глаза и на уши пилотку и почти сразу захрапел. Он крепко устал за сегодняшний день, рядовой пехотинец пулеметчик Батагов...

А после четырех часов утра он сидел рядом со своим пулеметом и слушал, как токует косачи. Он не увидел ни одного, но петухи токовали повсеместно. И их протяжные, переливистые песни заглушали все остальные звуки весеннего утра.

Силантий невольно представил себя на тетеревином току, что неподалеку от его родной деревни. Он сидит посреди большого мха в шалашке, сделанной из маленьких сосен, обложенной густыми ветками, и глядит из нее, как вокруг бродят, растопырив и опустив крылья, распушив веерообразные хвосты, украшенные белыми перьями, черно-сизые петухи. И в вечной страсти продолжения рода выклектывают бесконечные переливистые, урчащие, воркующие звуки, словно подражая трелям звенящим повсеместно весенних ручьев.

Вытянув шеи, они задирают друг друга, дерутся.

– Чу-фышшш! Чу-фышшшш! – шипят они друг на друга.

И вокруг на клюквенных кочках, на покрытых утренним ледком лужичах колышутся ветерком их выданные из боков перья.

А рядом с током сидят на маленьких сосенках нахохлившиеся тетерки и внимательно высматривают, кто из косачей токует жарче, упоительнее, восторженнее, выбирают самых красивых и сильных. После тока, уже на приподнятом над лесом солнце, они улетят со своими избранниками в темную чащу и там разделят с ними свою весеннюю любовь. Уже в начале лета их любовь даст новое потомство косачей и тетерок, которые много лет подряд будут прилетать на этот мох для новых страстных лесных танцев и тоже будут улетать в лесную чащу для новой любви.

И так будет продолжаться вечно, пока стоит этот мир и продолжаются на белом свете жизнь и любовь. Так повелевает им всемогущая Природа.

Песня тетеревов бесконечна...

Как бы хотелось сейчас Силантию уйти от этого пулемета, из этого холодного, чужого леса и посидеть в той шалашке. Рядом с домом.

Потом к нему пришел вдруг глухарь. Странно, что Силантий не слышал его токования, ведь он был совсем близко. Может быть, оттого что в весеннем лесу посреди просыпающегося, утреннего леса так много других звенящих звуков?

Глухарь шел к нему из чащи, высоко задрал голову в страстном токовом пении, развернув веером широченный хвост, подняв его кверху, волооча по земле тяжелые крылья.

«Тэк-тэк, тэка-тэка, кишшмя-кишшмя», – четко выговаривал глухарь и крутил, и тряс своей черной головой, украшенной огромными красными бархатными бровями.

Батагов сидел на сухой лежанке, втянув голову в плечи, съежившись, укутавшись в шинель, боясь пошевелиться.

Глухарь, захлебываясь в своей песне, прошел совсем рядом. И выставивший землю легкий утренний иней хрумчал, когда в него вдавливались глухаринные лапы. И когти, и шпоры большой птицы шаркали, прикасаясь к его серебристому покрывалу.

«Эк ты, – подумалось Батагову, – война кругом, а этот разошелся тут. Ишь ты! А если враг тебя, дурака, услышит да кокнет? Хорошо тебе будет?»

При чем тут враг, ему и самому было неведомо. Но сейчас, на войне, ему невольно казалось, что все, способное принести вред ему самому, или людям, или вот этому глухарю, могло быть только от врага. И за это его следовало бить еще крепче.

А глухарь как будто медленно-медленно плыл над землей в утреннем мареве, уходил от него, скрывался в кустах, в сумеречном воздухе. И показалось Силантию, что не глухарь это был совсем, а привет ему от родной сторонки, от деревни Яреньги, что на Летнем берегу Белого моря, от земляков, от семьи.

От них он приходил, от них!

– Я же весточку получил от родного дома, от родимой земельки. Чухарь-то мне ее и принес! Вот ведь как...

И Батагов уткнул лицо в сырой брусничник и заплакал. Плакал он молча, чтобы не разбудить напарника. Сидел на земле, на корточках и размазывал по лицу ненарочные слезы, плечи его тряслись.

Плакал он от налетевшего на него и просквозившего сердце, выстудившего душу холодного предчувствия: последний это был глухарь в его жизни! И весточка от родных была последней. Ушел глухарь от него навсегда...

И теперь сидел Силантий Батагов в чужом карельском лесу и крепко горевал.

И боялся выказать свою тревогу напарнику Кольке Борисову. Пусть он до самого конца не знает, что не выйти им живыми из этой дальней от родных домов сторонутки...

4

Стрелковая рота, в составе которой воевал Силантий Батагов, шла в наступление по самому левому флангу, вдоль шоссе. Она почти не встретила на своем пути сопротивления. Командиры объясняли это тем, что фланги и наступления, и обороны в силу огромной протяженности фронта и недостаточного наличия личного состава с той и другой стороны имели большие «пустоты», охраняемые натканными в них передвижными и стационарными укрепленными огневыми точками, дотами, дзотами, сигнальными группами, вооруженными проводной и беспроводной связью. Вдоль такой вот «пустоты» и продвигалась рота, в которой состоял Батагов.

На более чем пятикилометровом пути, пройденном в наступлении, встретились лишь две огневые позиции противника – пулеметная и минометная, общей численностью восемь человек. После короткого боя вражеские огневые точки были подавлены. При этом стрелковая рота потеряла только троих человек – двое убитых и один тяжелораненый. Легкораненые после перевязок остались в строю. И это вдохновило бойцов. Легкий успех принес уверенность, что рота вполне боеспособна и на своих участках может побеждать.

Но на шестом километре продвижения впереди раздались вдруг крики на финском языке и стрельба, автоматные и винтовочные выстрелы. Как раз там, куда ушла ротная разведка. Рота залегла. Потом все смолкло, лишь кричали и кричали финны.

И из леса к советским бойцам выполз полуживой, окровавленный разведчик Метелкин. Лицо и правый бок его были залиты кровью.

– Дальше хода нет, – успел доложить он командиру роты, – там, в скалах, укрепления и техника. Нашей роте туда не пройти.

– А где остальные? – спросил его ротный.

– Ребята все погибли, все трое. Сам видел, – тихо прохрипел Метелкин и, уже теряя сознание, с трудом добавил: – Там техники у финнов много, танки, пушки... – И впал в забытие.

Комроты дал команду окапываться.

И рота стала готовиться к схватке с врагом, к последнему своему бою.

Так ротный командир оказался в тяжелейшей ситуации. Было ясно, что впереди у него сильно укрепленный и технически оснащенный противник: какие-то части шестой финской дивизии и, скорее всего, подразделения немецкой дивизии СС «Север», которая располагается как раз на этой местности. Двигаться вперед он больше не может. Фланги и тыл роты абсолютно голые. Разрыв с находящимся справа батальоном 68-го стрелкового полка составляет около семисот метров. Что в промежутке в настоящий момент – неясно. Там, справа и довольно изрядно сзади идет сильный бой. Батальон продвигается вперед с боями, идет тяжело, вероятно, преодолевая упорное сопротивление противника и неся немалые потери. Батальон отстал от роты, не встретившей сопротивления.

Попытки установить связь с командиром батальона и получить хоть какие-то команды по дальнейшим действиям к успеху не привели. Радиостанция молчит, посланные двое связных пока не вернулись. Сейчас, дав команду окапываться, комроты послал в батальон еще одного бойца – своего ординарца Пирожникова. Но тот тоже пока не пришел назад.

Ротный не знал тогда, что комбат Крюков уже погиб, погиб и его заместитель Наричин, а батальон увяз в оборонительных боях и сам ждет команды на отход...

С открытого левого фланга, там, где распласталось широкое и длинное болото, роту могли атаковать любые силы противника, кроме танков, если бы враг этого захотел.

А в тылу роты находился только один пулеметный расчет рядового Батагова.

«Грамотный боец, конечно, – думал о нем командир, – только справится ли, если враг пойдет на него?»

Ротный так и не установил связь со своим батальоном, потому что батальон, не поддержанный ни авиацией, ни артиллерией, ни танками, ни подкреплением, не выдержал сильнейшего сопротивления превосходящих сил противника и погиб почти весь. К своим вышло только пятнадцать человек из двухсот пятидесяти, ушедших в наступление. Вышло только пятнадцать усталых и израненных бойцов.

А стрелковую роту на следующий день расстреляли прямой наводкой осколочными снарядами два выползших из леса тяжелых танка, да несколько орудий калибра 150 миллиметров, да подкравшиеся с флангов пулеметы, да снайперы, бьющие с окрестных деревьев.

Вторая стрелковая рота, оснащенная лишь одной 45-миллиметровой пушкой, одним ротным минометом и двумя станковыми пулеметами, ничего не могла противопоставить этому шквалу огня, кроме солдатских сердец и солдатских шинелей, слабо защищающих солдатские жизни от снарядов и пуль.

И остались от места расположения роты одни только сырые воронки в полуоттаявшей весенней карельской земле да комья разбросанной взрывами, пропитанной кровью земли.

И висящие в кронах деревьев солдатские пилотки...

5

– А что, Силантий Егорович, так-то можно воевать. Всю войну так и провоевал бы.

Второй номер Колька Борисов стянул со своего костистого тела гимнастерку, сбросил недавнюю обнову – белую рубашу и постелил их на южной стороне высоко выступающего над влажной землей вполне просохшего уже бугорка. Растянулся на них, подставив под весеннее утреннее солнце замусоленную свою физиономию, выступающие из-под кожи ребра – следствие перенесенного в детстве рахита, и впалый живот. И затанул желанную, мечтательную песню:

– Одна беда при такой войне – медалей да орденов на нас не повесят.

– Почему это, Коля, и не повесят? Ты же у нас бравый и добросовестный боец Красной армии, – Батагов поддержал пустой борисовский треп просто так, из уважения к своему верному оруженосцу.

– А кто же даст человеку медаль, если он, скажем, просто так полеживает на войне и пузо греет? Таких дураков же не бывает.

Разговор приобрел интересный оборот, и Силантий прилег рядом с Колькой, маленько отодвинув его с сухого места.

– А зачем тебе, боец Борисов, медаль эта самая? Ну, напялишь ты ее на грудь свою впалую, ну и что?

– А все девки мои будут в деревне, вот что!

Николай приподнялся на локтях, уставился в синюю дальнюю даль и поведал Силантию то, что сладким камнем лежало на его рабоче-крестьянской душе.

– У нас один парень спортом много занимался, заработал на соревнованиях значок «Ворошиловский стрелок», так знаешь чего?

– Чего?

– Не мог после этого от девок отбиться! Идет по улице, а девки со всех сторон так и вешаются на него, прилипали хреновы. Даже эта Танька Замотина на него обзарилась.

– Кто такая?

– Дак я хотел с ней погулять туда-сюда, а она к придурку к этому перебежала. Дура, в общем, дура и есть.

Колька глядел туда, в даль, где прогуливалась с удачливым спортсменом Таня Замотина, его заноза. Глядел и ехидно шурился. Видно, крепко цепанула его сердце красивая заводская девчонка.

Из всего облика Борисова, острого блеска прищуренных его глаз ясно проглядывалось, было видно, что получит, получит он свою заветную медаль. Обязательно получит! И тогда еще неизвестно, куда теперь переметнется его коварная любовь? К значку какому-то ворошиловскому или же к его медали, честно заработанной, полученной в тяжелых боях с немецко-фашистскими захватчиками?..

Справа от их позиции, где-то на расстоянии километра, шел тяжелый бой. Там бился с врагом батальон, в котором они с Борисовым служили. Батагов прислушивался к канонаде этого боя и сердце его тревожилась.

Ему, опытному бойцу, было очевидно, что батальон отступает и при этом несет тяжелые потери. Он слышал, как на наших позициях один за другим замолкали пулеметы. Все реже раздавалось уханье ротных станковых минометов, и от врага отстреливалась только одна легкая сорокапятимиллиметровая пушка. Батагов знал, что в наступлении их было четыре. Да и винтовочная и автоматная пальба с нашей стороны была уже не столь густой, как минут

пятнадцать-двадцать назад. Ясно было, что батальон попал в тяжелейшую ситуацию и теперь погибает.

Что явно бросалось в глаза Батагову и что больше всего злило его – это то, что с тыловой стороны к батальону никто не приходил на помощь. Хотя в момент начала наступления командование твердило уходящим в бой: мы вас поддержим, если наступит такая необходимость. Теперь батальон погибал, и на помощь ему никто не пришел.

А немцы и финны наращивали напор. По остаткам батальона была стена огня и оружейного, и автоматного, и пулеметного, и минометного. А по шоссе Луохи – Кестеньга к линии боя подошел немецкий танк и с ближней дистанции обстреливал позиции советского батальона.

Батагов сидел молча на бруствере, чадил махорку и качал головой.

Второй его номер тем временем восседал на бугорке с голым пузом, с округленными глазами. Махал руками и о чем-то возбужденно талдычил. Наверно, о подружках своих, с которыми у него отношения не всегда гладко складывались.

Батагов ожесточенно отбросил окурок в сторону и приказал:

– Все, Николай, надевай гимнастерку, заканчивай свой треп.

– А чего такое, Силантий Егорович? Чего такое? Никто на нас не идет, можно бы и погреться.

– Не идет, так пойдет, недолго осталось.

Борисов напояливал гимнастерку и важничал:

– А мы их со всех видов оружия. Вон у нас силища: боевой пулемет, гранаты, у меня винтовка. Дальнобойная, мосинская, пусть только попробуют.

Он засиделся в тылу, Николай Борисов, пороху не нюхал в настоящем бою и теперь вот храбрился.

«На роту, должно быть, скоро пойдут, – с тревогой размышлял Батагов. – Выдержали бы ребята».

Словно в подтверждение его мыслей спереди, в расположении роты, раздался страшный грохот, и через секунду он осознал, что на их роту обрушился сокрушительный огонь. Со стороны противника стреляло, наверное, все, что могло стрелять. Была тяжелая артиллерия, сотрясали воздух выстрелы танков и минометов. И с фронта, и с флангов по роте колошматили пулеметы. Не меньше десятка штук.

«Эка силушка напала! – беззвучно выговаривал Батагов. – Кто совладает с такой-то силушкой? Никому и не совладать. А у роты, считай, одни винтовочки, да пушечка-пукалка, да несколько штук пулеметов, бесполезных против танков.

Он понял, что рота теперь погибла, ей не выдержать такой огонь.

Еще старый солдат с безысходностью осознал, что теперь, когда погиб его батальон, державший оборону и прикрывавший его пулеметную точку с правого фланга, когда перемалывается в страшном огне его рота, защищавшая его от врага, теперь его позиция становится открытой для нападения со всех сторон. Теперь достаточно одного прицельного орудийного выстрела с дальней дистанции. Хватит и одного подкравшегося с любой стороны снайпера.

Все как в драке, когда ты один, а против тебя семеро. Не знаешь, откуда прилетит оплеуха.

Ситуация менялась категорически, катастрофически.

Батагов впервые с того дня, когда он прибыл на эту войну, почувствовал, как его тело наполняется страхом. Страх разлился по телу, сдавил мышцы, запекал иголками в кончиках пальцев ног и рук.

Впервые он явственно ощутил, как откуда-то из кустов, из леса ему в лицо дохнул спертый и гнилой воздух, как дыхание старушечьего рта, прореженного ошметками разрушенных зубов.

«Так вот смертушка-то и дышит, поганая, стало быть, – подумал Силантий. – Неужели приходит она ко мне?»

Ему не хотелось встречаться с этой старой каргой. У него было еще много дел, незавершенных, отложенных на время, звавших его к себе.

Он сидел, придавленный нахлынувшими событиями, и никак не мог сбросить с себя невыносимо тяжелый груз неизбежности.

Колька Борисов стоял во весь рост, руки в карманах. Он вытягивал шею, вертел головой из стороны в сторону и походил на тетерева, встревоженного выстрелами охотников.

– Чего это, а? – спрашивал он невесть кого. – Чего же это делается такое, а? Шум-то какой, надо же!

Старый солдат Батагов вгляделся в него, желторотого птенца, и начал сбрасывать с себя свинцовые чушки страха, столь отяготившие тело. Он же старший здесь, опытный, не сдаваться же врагу за здорово живешь, надо воевать...

– Эй, Колька, – громко сказал Батагов, – ты скажи мне, боец Красной армии, булькает еще что-нибудь в нашей фляжке?

Расстелив плащ-палатку посреди прошлогоднего брусничника, на жухлых ветках отжившей черники, среди которых синели чудом сохранившиеся после зимы скукоженные ягоды, они допили остатки разведенного спирта, съели последнюю банку тушенки, разломали последний ломоть полувывсохшего хлеба.

Уже совсем смолкли бои в направлении отступавшего их батальона и их роты, окопавшейся впереди. Только справа и слева по фронту громыхали последние усталые, запоздалые залпы затухающих боёв. Наступление Карельского фронта повсеместно прекращалось.

Весной сорок второго мы еще не научились как следует воевать...

Два солдата Красной армии вечерали предпоследнюю свою ночь в лесах Карелии.

И старый пулеметчик Силантий Батагов сказал молодому бойцу Николаю Борисову:

– Все, Колька, наотдыхались мы с тобой. Скоро и нам повоевать придется. Кругом все воюют. А мы с тобой что, рыжие что ли?

А Колька, непонятно отчего вдруг необычайно бледный и молчаливый в этот вечер, привздернул голову, состроил нахальную улыбку и сказал как ни в чем не бывало:

– Надо будет, так и повоюем!

Картина окружавшей их природы было прекрасна.

Их окружал чудесный вечер, растворенный в сумраке густого карельского леса, их дурманил прохладный воздух, настоянный на ароматах пробивающейся зелени, словно цветной тканью, наброшенной на природу. А высоко-высоко в небе, выкрашенном ровной ультрамариновой краской, была нарисована необычайно светлая, но почему-то бледная луна, куда-то потерявшая сегодня свои желтовато-розовые тона.

И целый день наперекор бушующей в Карелии войне, наплевав на орудийную канонаду, автоматную и винтовочную пальбу, вокруг солдат, вокруг их пулемета кружил замысловатый танец, все гудел и гудел, шелестел своими прозрачными крылышками, порхал среди первых весенних цветов «мать-и-мачехи» разноцветный шмель, разбуженный весенним солнцем.

С приходом первого тепла он начал собирать в полосатое свое брюшко душистый мед, чтобы вновь создать и прокормить очередное прожорливое шмелиное потомство.

Иногда шмель подлетал к солдатам совсем близко, кружил около их пилоток, и тогда шум, создаваемый серебристыми его крылышками, превращался в громкий рокот неведомого божественного мотора, звон разбуженной весной природы, частью которой он и был.

И этот весенний шум, более милый человеку, чем звуки войны, заглушал грохот гремевших повсюду боев.

И Силантий, и Колька Борисов радовались шмелю, кружившему около них, и желали, чтобы он все время был рядом. Этот шмель, будто случайно залетевший сюда из довоенной теплой поры, ненароком напомнил им, как гуляли они по мирным лугам и косили траву. А вокруг кружили и гудели золотые шмели. И высоко в синих небесах звенели звонкие жаворонки.

Хорошо, что, несмотря ни на какие войны, каждый год весной пробуждается и вновь бушует на свете вечнозеленая, негасимая жизнь!

6

Дома, в родной деревне, у Силантия Батагова было много незавершенной работы.

Он так и не успел закончить строительство своего дома.

В тридцать восьмом году колхоз помог ему заготовить строительный лес.

В эту зиму повсюду тучно лежал снег, и две выделенные ему колхозные лошадки с трудом пробивали грудью толщу высоченных сугробов. Силантий сам выбивался из сил. Шутка сказать, месяц в лесу на морозе с топором, да эти тяжеленные бревна, каждое по несколько центнеров весом. Часто, наваливая на сани такую тягость, Силантий думал: «Ну все, сейчас жилки мои порвутся». Силушки да пота, да ругани с лошадками и помощниками потратил он изрядно. Но вот же сдюжил! Восемьдесят деревьев, звонких, еловых, все как одно ровные да прямые, заготовил и рядом с будущим домом сложил в ряды, переложенные слегами – один ряд над другим. Получился огромный штабель.

Пока деревья сохли, уже по весне подготовил площадку для строительства: выровнял вместе с двумя мужиками – родней по своей и жениной линии – территорию, раскидал бугры, под уровень закопал и подвел стойки – сваи из обожженных витых еловых чушек. Эти будут стоять вечно.

Сама стройка оказалась тяжеленным, но сладким делом. Силантий любил плотницкое занятие, вникал в него и понимал его с детства. Любил он корить бревно, намечать линию на всю длину и вытюкивать топором паз. Вся деревня удивлялась: паз ведь – самое сложное дело! А он посмотрит внимательно на уже лежащее бревно, погладит его поверхность шершавой своей ладонью, наклонится, стрельнет глазом вдоль бревна, а потом топориком своим тук да тук, только щепочки отскакивают. Вот он обработал бревно, мужики вокруг стоят, рты раскрыли. А Силантий приказывает: «Накатывай!»

Накатали бревно: «Шлеп!» И будто вросло оно в нижнее бревно. Иди, гляди да шупай! Ищи щелочку! Хрена с два найдешь!

А как Силантий углы обрабатывает! Бревен пять-шесть в стене лежит. Ну, давай, тащи отвес! Найди миллиметр, отклонения туда-сюда. Бесполезно искать! Все ровненько, красиво, тютелька в тютельку!

Топор в его руке – это не инструмент совсем, а продолжение самой руки. Он вертит его над бревном, словно игрушку какую, почти не глядя – туда-сюда, вправо-влево. Только мелкая щепка по сторонам веером отлетает. Мужики и женочки, забыв про дела, останавливаются около стройки и глазят на такие чудеса.

– Ты бы, Силантьюшко, Ванятку мово научил так топориком вертеть, – размечается какая-нибудь деревенская Глафира. – Я бы уж по деревне-то королевишной и хаживала бы.

– Пускай пол-литры несет Иван, дак тогда и научу.

Силантий вытирал со лба пот и балагурил. Глаза его светились радостью, потому что по душе ему была его работа и этот беззаботный треп с сельчанами. Нравился ему его топор и сам тот счастливый факт, что строил он дом для своей семьи, для разлюбленной жены своей Феклисты и дочечек своих Катерины и Татьяны.

Времени у Батагова не было совсем. Считай, до вечера работа в конторе, и только после бухгалтерского корпенья, после ругани с колхозными бригадирами и мельтешенья в глазах деревянных костяшек получалось хоть маленько, хоть чего-нибудь поделывать на стройке. Уже ночью пришаркивал босыми ногами к кровати, стягивал с себя одежду и тыкался лицом в подушку.

В восемь утра опять на работе. И так много, много дней.

И лишь изредка, в красный вечерок, когда садящееся солнышко окрашивало и облака, и деревню, и строящийся его дом в нежный малиновый цвет, Силантий отрывал себя от работы,

бежал к жене, к дочкам, звал их за собой, и они все вчетвером садились рядком на речной бережок, на бревнышко, что под самым их домом, и Силантий говорил:

– Поглядите-ко, деушки вы мои, какой домик-то у нас с вами красивенькой будет.

Он привставал с бревна, очерчивал рукой на земле квадрат и мечтал:

– А вот тут баню построим. Станем в ней париться и прыгать в речку. Купаться будем и ногами дрыгать. Хорошо ведь это дело будет, деушки, а?

– Знамо дело, хорошо, – соглашалась Феклиста и тоже мечтала: – Скорее бы уж, Силантьюшко.

– Ладно-ладно, не у чужих людей всяко живем, и не на улице. Маленько-то можно и подождать.

Хотя, конечно, как мог, торопил он тот момент, когда можно будет перебраться в свое жилище.

Момент этот настал перед самой войной. В конце мая сорок первого Силантий пришел к тетке своей Прасковье Семеновне, пал ей в ноги и сказал хорошие слова:

– Спасибо тебе, тетушка, что приютила ты нас да обогрела. Век не забудем тебя и твою доброту. Спасла ты нас после беды нашей.

Несчастье то случилось не только у Силантия. В пожар сгорело в деревне девять домов, в том числе и его. Но люди помогли друг другу, и деревня опять отстроилась, опять потекла привычная жизнь.

Прасковья с оханьями да с причитаниями: «Жили бы да жили с деточками-то, мне ведь веселее с имя», – помогла семье собраться и перенести в новый дом вещи.

А дом Силантий до войны так и не достроил. Не успел.

Он с женой да малыми детьми жил на летней половине, где была налажена кухня и комната через перегородку. А переда – большая горница, откуда открывался вид на речку, стояла под общей крышей, но без пола и без потолка. Только висели над передами стропила и потолочные крепкие балки. Да еще были застеклены окна, чтобы не залетал в них снег, не проливал дождь. Да лежали на земле лаги. Была бы у Батагова хотя бы весна, он бы закончил и переда. Но зимой его забрали на фронт. И он так и не нагляделся на речку из своей передней.

Вот теперь, вдали от дома, Силантий просыпался в казарме по ночам и размышлял о том, как же будут выглядеть и горница, и весь дом, когда он закончит строительство. Где он устроит свою маленькую мастерскую? Там будут храниться его топоры, два рубанка и фуганок, уровень, норвежская напарья¹, то да се... Мало ли еще чего прибудет в хозяйстве.

Не успел он закончить и повесть. А как без скотинки, без ввоза для заготовки сена? А где будут висеть его рюжи² и сети?

Эх, много еще работы на доме, много...

Особенной заботой висел на душе недошитый карбасок.

Это была мечта не только его военной и суровой молодости, но и его детства. Иметь свою лодочку, ворочать в ней веслами, напирать на волну, испытывать свою молодецкую силу-силушку... Да куда там: полуголодное, безотцовское детство, голодная, вся в нужде юность – тут не до своего карбаска.

Но вот пришла зрелость. Какой-никакой достаток. Старая мечта жила в нем и по ночам, в минуты досуга пульсировала внутри грудины, где-то под горлом, и сладко напевала о том, что надо построить лодочку. Причем сделать это самому, своими руками. Просить у кого-то надоело, и Силантий приноровился выставлять снасти «бродком». На пике отлива, в мелкую воду, натягивал на ноги бахилы и тяжелым коем³ забивал колья в берег, вешал на них стеницу⁴,

¹ Напарья – ручной инструмент для сверления отверстий в дереве.

² Рюжа – рыболовная снасть.

³ Кой – тяжелый деревянный молоток для забивания кольев в морское дно.

крылья⁵, кут⁶. Накатная волна частенько захлестывала верха бахил, и работать приходилось в сапогах, полных холоднющей морской воды. Силантий, чего уж там, с плохо скрываемой завистью поглядывал на мужиков, которые то же самое делали со своих карбасков, да еще и отвешивали в его адрес обидные шуточки.

Батагов понимал: сшить карбас самому – дело ох как непростое. В нем много незаметных со стороны, но на самом деле хитрых тонкостей. И он как бы ненароком, как бы по колхозным надобностям похаживал в лодейную мастерскую и присматривался, что да как? Вроде из пустого интереса выспрашивал у мастеров всякие затейливые штучки.

Все выпросил, все вызнал. Понял: осилит он эту задачу!

Все остальное было делом знаний в работе с инструментом и сноровки. Рядом со своим дровенником смастерил Силантий навес, куда собрал нужный материал. В ближнем лесу вырубил два ладных еловых кренька⁷ под носовой и кормовой кили, выставил их под навесом на подпорки. Потом пошла работа по обработке досок, вырубке в киях пазов для крепления в них концов досок, по выравниванию изгиба и приладке друг к другу продольных досок, по изготовлению шпангоутов...

И карбасок свой Силантий Батагов тоже не успел завершить. Осталось-то выровнять верхние доски, да обложить их брусками, да наладить кочетья...⁸

Ну, еще, конечно, надо было выстрогать весла, да такие, чтобы подходили они к карбаску и по длине, и по весу...

Стоит теперь его недошитый карбасок под навесом на пригорке возле моря, накрытый брезентом и ждет своего хозяина.

А хозяин вон на войне застрял.

И еще одну заботушку знал Силантий, которая не завершилась пока и тоже ждет его. Ждет и ждет.

Уже перед уходом на войну поведала ему его ненаглядная Феклистушка, что понесла она опять ребеночка. И на этот раз Силантий не просто догадывался, а уверен был, что растет под сердцем у женушки сыночек его, долгожданный парнишка. Его кровинушка – наследник.

И то, что теперь жена его отяжелевшая мается с двумя маленькими девчонками одинешенька, без мужниного крепкого плеча, бьется над хозяйством, над охапками дров, которые еще надо распилить и наколоть, над тяжелыми ведрами из речной проруби – все это не давало Силантию покоя, выворачивало его наизнанку. Вот от этой беды его отвлекала, да и то ненадолго, только самая неотвязная, самая необходимая забота.

⁴ Стеница – стенка, прибрежная часть рюжи.

⁵ Крылья – стенка, боковая часть рюжи.

⁶ Кут – ловушка рюжи.

⁷ Креньки – изогнутая часть ствола и корня ели для изготовления кили карбаса.

⁸ Кочетья – уключины.

7

– Вон они идут, идут! – закричал ему в ухо свистящим шепотом второй номер Колька Борисов.

Силантий глубинным верным чутьем старого солдата осознал, что враг все равно пойдет на них: ему необходимо постоянно выравнивать свои фланги, чтобы красноармейцы не ударили в незащищенный бок. Теперь он отчетливо понимал, что сломив упорное сопротивление противостоящего ему батальона Красной армии, финские и немецкие части должны будут устремиться вперед.

Красная стрелковая рота, наступавшая по левому флангу батальона, теперь тоже была уничтожена. Однако Силантию, много раз ходившему в разведку, было предельно ясно: враги не пойдут в наступление, пока не изучат открывшийся тыл этой роты. Что спрятано в его чреве? Может быть, там стоит еще одна рота, хорошо оснащенная тяжелой техникой и живой силой? И поджидает своего часа для внезапного удара.

Силантий понимал это и ждал разведку. И вот она пришла.

– Колька, – сказал Батагов своему помощнику и сдвинул сурово брови, – дуй вон за тот камень, – он указал на валун метрах в тридцати справа, – будешь стрелять по моей команде. Задача понятна?

– Понятно, чего тут... все ясно, – Колька схватил свою трехлинейку, лежащую на окопном бруствере, поднял ее и прижал к груди. Держал, обхватив руками, словно запеленанного ребенка.

– Патроны у тебя есть?

– А как же, Силантий Егорович, полные карманы...

Батагов одобрительно крякнул:

– Знаем мы вас, петрозаводскую шпану. Без патронов да без ножигов не ходите.

Они помолчали, поглядели вперед. Там, вдали, во влажной весенней размытости, шли, покачиваясь между деревьями, четыре удлинённые фигуры: сырость удлиняет дальние предметы.

– Вот что, Колька, огонь по моей команде. Когда будешь стрелять, ори чего-нибудь.

– А чего орать-то?

– Сам не знаешь чего? «За Родину!», «За Сталина!», «Рота в атаку вперед!» – чего-нибудь такое.

– А-а, я понял. Есть, товарищ командир!

– Все, дуй! Враг вон уже на подходе.

И Колька, наклонившись чуть не до земли, держа на весу тяжелую винтовку, побежал направо, к своему валуну.

Финны не знали, где их может ожидать пулемет. Да и есть ли он вообще. Спереди его невозможно было разглядеть: Батагов и Борисов надежно замаскировали пулемет ветками и жухлой прошлогодней травой. Он ничем не отличался от обыкновенного лесного бугорка. Финны вообще ничего не знали, они просто шли в разведку.

И вот уже мелькавшие за деревьями размытые тени начали приобретать четкие человеческие очертания. Финские солдаты были в маскировочных халатах с карабинами на плечах. Силантий уже наслышан был, что они терпеть не могут немецких «шмайссеров»: дальнобойные винтовки кажутся им более надежными, а финны хорошие стрелки. Разведчики шли осторожно, внимательно вглядываясь в окружающее лесное пространство. Иногда останавливались, и тогда шедший вторым справа солдат прислонялся к дереву, поднимал к глазам бинокль и долго в него глядел, поворачивая бинокль во все стороны.

Силантий давненько не стрелял по людям. Лет этак двадцать, с Гражданской войны. Но враг – всегда враг. И поэтому должен быть уничтожен. И рука его не дрогнула.

Батагов с него и начал. С того, с биноклем. Он подождал очередной остановки группы, навел пулемет, соединил мушку с целиком в районе груди солдата и нажал на гашетку.

Борисов тоже открыл беспорядочную стрельбу и кричал так, что у Силантия потом в правом ухе звенело.

Батагов дал несколько коротких очередей по бегущим мишеням. Стрелял, пока они не перестали бегать. Одна фигура в камуфляжном балахоне какое-то время петляла, но Силантий, уловив начало движения фигуры влево, взял на опережение, и последний солдат тоже упал.

Николай Борисов на какое-то время замолчал. Он глядел вперед и оценивал обстановку. Потом вскочил, бросил винтовку на спину и закричал бесконечное: «Ура-а-а!» И побежал к Силантию. Он бросился обниматься и все кричал и кричал свое «ура».

– Да погоди ты, Колька... Уймись ты. Че разорался-то? – успокаивал его Батагов.

– Да я ведь в первый раз воевал, в первый! Понимаешь, командир. – Он отскочил в сторону, вытаращил свои и без того немалые глазищи, растопырил в сторону руки и опять заорал: – Урря-я-а!

Ну чего ты поделаешь с ним, с этим молодым придурком? Пулеметчик Батагов сидел рядом со своим пулеметом, набивал махрой сигарку, глядел перед собой. О чем-то размышлял.

Он пыхтел своей сигаркой, посиживал, и Колька, наоравшись наконец, сел рядом, влюбленно стал разглядывать Батагова, будто в первый раз его увидел.

– Где это ты так стрелять научился, Силантий Егорович? Это ж надо, как в тире.

Силантий сплюнул в сторону зеленую тягучую гадость, помолчал, покачал головой.

– Я, Колька, давно ведь воюю-то, всяко, брат, привелось, поневоле научишься.

А потом, опять помолчав, он высказал мысль, тревожившую его:

– Ты не думай, Колька, что они теперь нас забудут. Заноза мы для них. Сидим тут в тылу у них, они же не знают, сколько нас тут, много, мало. А ты орёшь, как целая рота...

Он сделал большую, тяжелую затяжку, сокрушенно покачал головой:

– В разведку они пойдут опять.

Раздувался ветерок наступающего вечера. В воздухе было холодно и сыро. От пережитого волнения Колька Борисов ежился и мелко дрожал. Винтовка лежала у него на коленях.

– А к-когда они пойдут опять? – спросил он с явной надеждой, что враг может теперь долго к ним не сунется.

Силантий откинул в сторону сигарку.

– Да скоро уж и пойдут. Ихний командир сейчас таких пинков наполучает, что не может тыл очистить. Некогда ему окошеливаться.

– А что, опять так же пойдут, с этой же стороны?

– Не, вряд ли. Прямо уже не пойдут. По зубам получили... Думаю, теперь по вот этой вот дорожке технику какую-нибудь в разведку pošлют.

Силантий поднялся, прошел шагов тридцать по проселочной дороге, на которой они находились.

– А что, дорожка справная. Идет откуда-то из их расположения, упирается в шоссе, легкий танк вполне проскочить может. Здесь они и попрутся.

Он выпрямился и огляделся:

– А больше-то и негде. По шоссе не пойдут открыто. Опасно для них. Могут по ним шарахнуть прямой наводкой. Вдоль шоссе техника не пройдет – везде лес густой, ни танку не проползти, ни пушку катануть. Только здесь.

Он опять сел около пулемета, снял с головы пилотку и охлопал ею голенище своего сапога.

– И бой, Коля, будет тяжелый на этот раз, настоящий бой. – Покачал опять головой и добавил: – А отступать, рядовой Борисов, нельзя нам с тобой, приказа такого у нас нет, да и боеприпасы мы с тобой пока не расстреляли полностью. А как из боя выходить, если патроны имеются в наличии? Особый отдел по головке не погладит. Так ведь, Николаша?

И Силантий глянул исподлобья на молодого бойца Борисова такими глазами, что у того охолодилось сердце. В глазах стояла невыразимая бесконечная печаль и что-то невысказанное, дальнее, идущее из неведомых закоулков души уже пожившего изрядно человека. Коля Борисов таких взглядов не любил и не понимал их. Он отвернулся и стал глядеть туда, откуда может прийти враг. Он твердо знал, что лишь в бою может получить заветную свою медаль. И только молодое лицо его занавесилось легкой, сероватой бледностью, словно воздушной вуалью, прилетевший вдруг оттуда, с вражеской стороны. Но он не заметил ее, этой вуали.

8

Вечера в Карелии длинные, но день все же угасал. Надо было завершить необходимые дела. И Батагов сказал:

– Слыш-ко, Николай, пока они очухаются, мало-мальское время у нас имеется. Сходи-ко ты, дитятко, к ребятам этим. Проверь там, что да как, да собери, Николаша, маленько оружия, ну и патрончиков прихвати. У них четыре винтовки. Всех-то нам не надо, а заberi-ко ты у них две. Нам пока и хватит.

Он позыркал глазами, как всегда делал перед принятием решения:

– А патроны заberi все. Подсумки с ремней сдерни и тащи все сюда.

Помолчал, сплюнул в сторону. Скорчил брезгливую физиономию:

– А по карманам не шарь у них, Коля. Мне дак противно, покойники же.

Николай повесил на плечо винтовку, маленько сгорбился от ответственности полученной задачи и пошел.

А Силантий крикнул вслед:

– Ходи там осторожней. Может, кто живой там есть, шевелится, может, кто. Сразу стреляй, не жди, что он первый тебя прикокнет.

Николай ушел с винтовкой в правой руке. Шел он осторожно, озираясь, вглядываясь в даль.

Потом Батагов сидел на кокорине и наблюдал, как Борисов с винтовкой наперевес ходит меж кустов и то наклоняется, то выпрямляется.

Вот он остановился, присел, стал работать руками.

«Нашел первого!»

Вот Николай опять идет вперед. Останавливается. И вдруг поднимает к плечу винтовку, раздается выстрел...

Вернувшись на позицию, Колька сидел на бруствере сгорбленный, словно переломленный навалившейся заботой. Его била дрожь.

– Чего трясеся, дитятко? – спросил его Батагов с изрядной ехидностью.

Стуча зубами, Борисов рассказал, что один финский солдат был еще живой.

– Ноги были у него перебиты. На руках уползал в свою, вражью сторону. Хотел в меня...

– Ну и чево?

– А добил я его. В грудь выстрелил. Он и голову уронил.

– Ну и чево?

– Я ведь первый раз эдак в человека... В упор... Жалковато вроде, человек же...

Батагов вдруг вспыхнул весь, шагнул вперед.

– А в рожу ты не захотел, земля? Молокосос, мать твою... Жалко ему! Ты ежели врага жалеешь, хреначь-ко к чухонцам. Может, они тебя и пожалеют, по головке погладят.

Он подошел к Кольке, крепко сграбастал его за шиворот, тряхнул пару раз, отчего Колькина голова заболталась на шее, как на шарнире.

– Ты чего жалостливый такой, щеняра? Думаешь, он пожалел бы тебя, придурка, если встренулись бы вы на узкой тропочке? Ты разве не слыхал, что финны делают с нашими пленными? Глаза выкалывают, потом мучают до смерти. Солдатик этот чухонский поглумился бы над тобой вдосталь, а уж потом бы и пристрелил. А ему, вишь ты, жа-алко врага стало! От щеняра!..

Силантий ходил вокруг Кольки, тряс плечами, кряхтел, будто хотел сбросить с себя навалившуюся злость. Но злость не сбрасывалась, висела на нем цепко.

– У тебя, рядовой Борисов, одно желание должно быть, когда враг перед тобой. Как ты Таньку свою хочешь в постель уложить, также ты должен хотеть убить своего врага. Не убил,

значит, он сам тебя и убьет. Или же насильничает твою мать, твою сестру, спалит твой дом. Он же враг! Запомни, Колька, он не человек, а он враг! Он сюда за этим и пришел!

Батагов скрутил новую сигарку. И пока ее мастерил, он молчал, только сосредоточенно сопел. Силантий не мог отвлекаться от сигарки. Когда запыхтел вонючим махорочным дымом, закатил глаза, сделал сладкую затяжку, тогда продолжил:

– Ну, ты понял меня, рядовой Борисов? Главное запомни: враг не должен гулять по твоей земле, а должен с дыркой в голове или там в пузе валяться и гнить в поганом овраге. Там ему самое место.

Колька от такой беседы давно уже перестал трястись. Он теперь стоял почти навывтяжку перед своим командиром и бормотал, впрочем, вполне твердо:

– Первый раз я, Силантий Егорович... Оробел вот, смутился... Больше не повторится.

А Батагов сидел на окопном бруствере, дымил, будто блиндажная печка-буржуйка, и приговаривал:

– Ладно, боец, будем считать, что ты понял все. Надо теперь к бою готовиться, вот что...

9

Опять была ночь, полная весенних звуков и запахов, ночь неизвестности и тревоги. Посреди ее было краткое затишье. Пошумливал лишь ветер в нежной ткани проклюнувшихся листьев, в иголках сосен да елок. Тренькала и никак не засыпала какая-то заполошная лесная птица, наверное, страдающая от бессонницы, или потрясенная красотой пробуждающейся от зимы природы.

Но лишь покраснело над лесом зарево восходящего солнца и окрасились в нежно-розовый цвет верхушки высоких лесин, только что мирно спящий лес вдруг разом проснулся, взорвался свистом, трелями и щебетом множества птиц, тетеревиным страстным чучфыканьем и урчанием, затенькали сойки, закрипели болтуны-сороки. А в глубинах близлежащих мхов захрипели любвеобильные самцы-куропты, будто старичье, выкашливающее надоедливый махорочный дым. И вокруг, насколько воспринимал слух, непрестанно ворчала, хлюпала и журчала летящая по всем известным только ей направлениям талая вода.

Пулеметчик Батагов понимал, что эта весенняя ночь, наполненная знакомыми с детства радостными звуками, была для него последней. Осознание того, что не выкарабкаться ему живым из этого карельского леса, из этой ловушки, теперь сидело в нём твердо и окончательно.

И он не спал.

Он знал, что представляет для финнов большую загадку: что за силушка затаилась у них в тылу? Которая расстреляла, как котят, их разведчиков, которая ошетилилась и не дает им проходу. Какие силы необходимо бросить на эту силушку? Понятно, что должна пойти их разведка. И пойдет она вот-вот. У их командиров совсем нет больше времени, чтобы во всем разобраться.

Расцветало. Уже образовались на остатках темного снега и на разводьях бесконечные тени. Стояла прохладная, утренняя рань, но воздух был уже прозрачен, хотя и наполнен стылой сыростью.

Будто в подтверждение невольных ожиданий Силантия где-то далеко-далеко, за лесными завалами, в той стороне, куда уходила проселочная сырая дорога, раздалось мерное, ритмичное тарахтенье двигателя. Батагов еще не знал, да и не мог он знать, что эти звуки станут приближаться к ним. Но как-то сразу угадал: это по их с Борисовым душу. Он подошел к их «постели» – наваленной под густой низкорослой сосной куче елового лапника, на которой лицом в набитый сухой травой вешмешок, вместо подушки, посапывал его второй номер Николай Борисов, растолкал его в бок и присел рядом на еловую хвою. Колька вытаращил полусонные глаза, уставил их в небо и лежал какое-то время молча, не шевелясь, видно не понимая, где это он находится.

– Все, Колька, поднимайся, едут за нами.

– Кто это, чего? Кто к нам такой едет? – Борисов сидел и сонно таращился вокруг. Ему не хотелось вылезать из-под пригравшей его сосны. Знамо дело, молодежь солдатская крепко любит поспать.

– Бой сейчас будет. Вставать тебе надо, рядовой Борисов, воевать за Родину.

– Да какой бой, Силантий Егорович? Я сон сейчас видел, вот это сон так сон!

– Танька, небось, снилась опять, вертихвостка эта?

– Угу, она.

– Ладно, любви опосля крутить будешь, солдат. А сейчас ополосни морду свою замызганную вон в той луже. Нам приготовиться надо. Воевать будем скоро.

Колька собрал ладони «ковшичком», понабрал воды в талой, чистой луже и ополоснул свою замусоленную физиономию, пошаркал ее ладонью, а потом расстегнул ремень, поднял

двумя руками низ гимнастерки и тщательно вытер им лицо. Надев опять ремень, он резко выпрямился, повернул к Батагову зарумянившийся, проясненный лик и весело доложил:

– Рядовой Борисов к бою готов!

А Силантий в это время достал из своего вещмешка последнюю краюху хлеба и разрезал ее ножом на две ровные части.

– Негоже, Николай, воевать на пустое брюхо, – сказал он добродушно, – давай-ко подходи к столу.

Они перекусили и попили из солдатских помятых кружек весенней талой водицы. Силантий растопырил в стороны колени, поставил на них локти и, скрестив ладони, опустил низко голову. Посидел так маленько, помолчал, потом резко поднялся.

– Ну, все, Николай, – сказал он так, будто принял крепкое, окончательное решение в важном деле. – Погуляли мы с тобой – и хватит. Теперь все!

Он взял мешок с гранатами, приказал Борисову захватить винтовку и патроны, и они прошли по проселочной дороге метров шестьдесят. Туда, навстречу идущему к ним, пока еще не близкому танку. Остановились там, где придорожный кювет расширился, где дожди, снег и ручьи вымыли что-то вроде глубокой короткой траншейки. Батагов поднял палец вверх и спросил:

– Слышишь, Коля, танк к нам идет?

Борисов задрал лицо к небу, приоткрыл рот, прислушался.

– Чего-то триндит вроде... А может, и не танк совсем? Может, просто тарантайка какая едет себе, да и едет. По своим делам.

– Да нет, Коля, танк это вражеский. И едет он сюда, чтобы нас с тобой убить.

Борисов, видно было, струсил маленько от такой новости. Он прижал к плечам голову, и пилотка сразу будто сравнялась с ними. Потом позыркал глазами по сторонам, поглядел внимательно на Батагова. Тот стоял прямо и глядел перед собой спокойно, уверенно. Николай распрямился, вытянул шею.

– А хрена им с два! Мы еще глянем, кто кого. Вон, у нас гранаты имеются, РПГ-40. Это им не шуточки какие, долбанут, мало им не будет.

– Правильно, Николай, обстановку понимаешь. Ты, Коля, не робей этого танка. В нем такие же людишки сидят, как и мы с тобой. Тоже всего бояться, не железные они тоже... А танк – такая же железяка, как и обыкновенный трактор. Кидай гранату прямо в гусеницу. Это у него – самое слабое место. Граната гусеницу порвет – танк и остановится. Вот тут-то мы его и дококаем. Только вот что...

И тут Батагов вдруг посерьезнел, положил руки на плечи своего помощника и, строго глядя ему в глаза, сказал:

– Ты, рядовой Борисов, обязан быть живым, потому как мне без тебя одному тяжело воевать будет. Исходя из этого, ставлю перед тобой важные задачи.

Борисов стоял перед ним не очень твердо. Видно было, что он крепко передрейфил сейчас, этот необстрелянный боец. Но виду старался не подавать. Спросил только:

– Какие такие?

– А вот какие. Первое: бросай гранату и сразу падай в окоп, пока она летит, чтоб осколками не зацепило. Граната противотанковая, сам знаешь, взрывается при ударе о броню. Второе, – Силантий говорил медленно, отдельно, при этом тыкал Борисова пальцем в грудь, – танк наверняка будут сопровождать солдаты. Не ввязывайся с ними в бой, а сразу дуй ко мне. Солдатики – это мой вопрос. Суматоха будет, ты этим и пользуйся.

Он опустил руки, выпрямился.

– Вам все понятно, рядовой Борисов?

Николай совладал с собой. Тоже встал по стойке «смирно».

– Так точно, товарищ командир расчета!

– Тогда приступить к исполнению.

И Батагов резко отвернулся, пошел к себе, к пулемету.

Он проверил еще раз свой пулемет, его маскировку. Потрогал закрывающие его щиток и ствол ветки – не разлетятся ли, не отпадут ли при ведении огня. Еще раз очистил ветки со ствола – с линии прицела, открыл крышку, проверил правильность укладки ленты, крышку закрыл. Снял предохранитель, дослал патрон в патронник, открыл патронную коробку, потрогал пальцами, ровно ли лежат патроны в ленте и сама лента, коробку закрыл. Прицелился туда, откуда скоро придет враг. Поводил из стороны в сторону ствол. Удостоверился: все правильно, все работает, все готово.

Сидя за пулеметом, Силантий не мог не отметить верные действия своего второго номера. Тот надежно спрятался в кювете, словно слился с ним. Гранаты лежали перед ним на только что вырытой земляной полочке, готовые к бою, винтовка стояла рядом.

«Хороший боец из него может получиться», – подумалось ему.

10

Танк показался из-за поворота метрах в четырехстах. Полз он медленно, словно зверь, выглядывающий добычу. Позади, метрах в семидесяти, тянулся грузовик с открытым кузовом. В нем сидели солдаты.

«Эк-ка силушка прет сюда», – с тревогой размышлял старый солдат.

Но приглядевшись, увидел он, что танк-то не столь уж и большой. Он нагледелся уже на этой войне на разных танков. А этот был какой-то малахольный. Маленькая пушка, подствольный пулемет и узенькие гусеницы.

– А-а, так получается, что пришел он не воевать, а тоже в разведку. Ну, тогда другое дело... Давай, Колька! Теперь дело за тобой, а мое дело – пехота...

Он увидел, как танк подходил к Борису все ближе и ближе. Вот он поравнялся... И тут из кювета, из траншейки выскочила половина туловища Николая, выбросилась вперед его рука, держащая гранату. Вот граната полетела... Туловище сразу уже исчезло, а граната шлепнулась о броню выше гусеницы. Раздался тяжеленный взрыв, и танк остановился. Но Батагов увидел, что гусеница цела, и броня тоже не пробита, удар взрыва пришелся вскользь. А остановился танк, вероятно, от сильного внутреннего удара, от шока. Но по всему было видно: он вот-вот пойдет вперед опять. Однако из окопчика снова выскочила половина туловища рядового Борисова, и его рука снова швырнула гранату по уже стоящему на месте танку.

На этот раз граната ударила в шестерни ниже гусеницы. Удар от взрыва был такой силы, что гусеница легкого немецкого танка не выдержала и лопнула. Обрывки ее поползли по скалам. И танк начал кружить на месте. Солдаты в машине, ошеломленные увиденным и оглохшие от взрывов, открыли было огонь по окопчику, в котором укрывался Борисов. Но тот лежал, укрывшись за корпусом крутящегося танка.

А пулеметчик Батагов уже стрелял длинными очередями по финским солдатам, выпрыгивающим из машины, и кричал что есть мочи:

– Колька, дуй ко мне, быстро!

И Колька ползком и перебежками примчался к Батагову и прыгнул к нему в окоп.

– Все! – кричал ему Силантий, строча из пулемета. – Заслужил ты свою медаль! Поедешь с войны героем к своей Таньке. А может, даже и орден. Это как подать.

А второй номер Николай Борисов уже лежал за бруствером и вел прицельный огонь по врагам Отчизны, финским захватчикам. За танком, около машины, вокруг нее лежали убитые и раненые вражеские солдаты. Оттуда слышались стоны и крики убегающих, приказы командира.

Силантий с Николаем все стреляли и стреляли, пока не прекратились стоны и пока не исчезли в лесу мелькавшие вдали фигуры солдат, оставшихся в живых.

Бойцы какое-то время лежали молча, разглядывали развернувшуюся перед ними картину.

Невдалеке, метрах в пятидесяти, стоял легкий немецкий танк, который перестал крутиться вокруг своей оси, а водил теперь башней, выискивая цель.

За ним боком с вывернутыми в разные стороны колесами стоял финский грузовик, продырявленный пулеметными очередями, с обвисшей щепой боковых деревянных стенок, с фигурой водителя, вывалившегося из кабины. Водитель хотел развернуться под пулеметным огнем, да только не успел...

– Ну чего будем делать дальше? – спросил негромко Батагов.

И было непонятно, расслышал его голос Колька Борисов или нет. Он оглох от гранатных взрывов, был ошеломлен сценой кровавого боя. Губы его отвисли, зубы стучали.

Батагов легонько постучал его кулаком по челюсти.

– Ну-ну, ты приходи в себя, боец, нам еще надо с танком что-то решать.

А танк вдруг начал палить по сторонам из своего пулемета. Башня его крутилась и поливала огнем все, что находилось рядом. Пули стукнули и о пулеметный щиток, укрытый сосновыми ветками.

– Пригнись, Колька. А то не ровен час... – приказал Силантий.

А тот уже и так лежал лицом вниз в окопе и не шевелился. Отдыхал...

Силантий поглядел на его скрюченную фигуру, понял: надо парня приводить в порядок, а то разлегся на песочке...

– Вот я лежу и думаю, рядовой Борисов, какая же награда тебе теперь полагается? Ведь ты же, брат ты мой, одни подвиги на войне совершаешь. Надо же, танк подбил! А сколько врагов из винтовки ухлопал, и не сосчитать. Весь лес покойниками завалил. Думаю, если грамотно представление на тебя составить, тебе целый орден могут дать. А для такого парня и Героя не жалко.

Батагов скривил крестьянское свое лицо, сплюнул в сторону и сказал с горькой интонацией в голосе:

– Жалко, курнуть нельзя. Позицию сразу разоблачим.

И без перехода продолжил:

– А вот интересно мне, Колька, если героем домой поедешь, женишься ты на Таньке на своей или на другую интересную кумушку позарисся? Ты ведь, Колька, шалапут изрядный и бабник.

Забота Силантия была сейчас не выпустить немецких танкистов из танка, не дать им удрать. И он высматривал сквозь ветки, поглядывал на башню. Не откроется ли люк?

Люк действительно начал было открываться. На крыше башни образовалась сбоку неширокая щель. Но Батагов дал по ней короткую, прицельную очередь. В танке раздался крик, люк захлопнулся.

«Не исключено, что я поранил танкисту руку, – подумал Силантий, – теперь надо глядеть в оба, теперь танкисты долго не усидят, если кто-то из них ранен».

«Сколько же там танкистов?» – размышлял Батагов. Судя по размерам самого танка, человека два, вряд ли больше. Максимум три солдата. Надо же как-то выкурить их оттуда и положить рядом с танком. Зачем же они нужны ему живые? Живые они опасны.

Он лежал за пулеметом, примерялся к обстановке и наконец надумал. Тронул напарника за плечо:

– Колька, хватит отдыхать. Вишь, разлегся. Война кругом, а он полеживает.

– Чего, командир? – Борисов поднял лицо, все в песке, взгляд уже более-менее живой, ослепленный. Отошел парень, слава тебе, Господи!

– Вот скажи ты мне, душа ты моя ненаглядная, рядовой Борисов. Как ты собираешься уничтожать экипаж вражеского танка, находящегося перед тобой?

Николай выглянул из бруствера, стал оценивать обстановку. Думал-думал, ничего не придумал.

– Гранат больше не требуется, а пули броню не пробьют, – высказал он свои мысли. – Пушку бы надо, без пушки тут никак.

– Умно! – оценил Батагов. – Тебе заодно бы и генерала надо дать, вместе с Героем.

Не отрывая глаз от танковой башни, он поставил своему второму номеру боевую задачу.

– Вот что, Колька, хватит нам прохлаждаться и дурочку валять. Надо с этим цирком заканчивать. Давай-ко ползком дуй в сторонку за те вон кусты и подползи ближе к танку. Заползи в его мертвую зону.

Он зыркнул на Кольку глазами большого начальника.

– Знаешь ты, боец, что такое мертвая зона?

– Конечно знаю. Это когда меня из танка ухлопать невозможно. Когда меня не видно.

– Все правильно, Колька! Так вот, подберешься к танку, собери вокруг сучья, сушняк, листья, сгребь их под танк в кучу, только побольше, и подожги. Когда разгорится, обратным маневром дуй сюда. Задача понятна?

– Ну ты голова, Силантий Егорович. Мне бы в жизнь не придумать. Голова-а!

– Дуй, Колька, я тебя прикрою.

Он глядел из-за веток, из-за пулемета, как Николай шабаршит около танка, тянет под днище ветки, хворост, листья, стволы сухих елок, бересту... Вот он чиркает одну за другой спички, вот из-под танка вытягивается во все стороны дым. Сначала струйками, потом густой... Потом пошел огонь, затрещал под танком.

Колька почему-то не торопится, он на карачках выползает из-под танка. И так, на четвереньках, сидит поодаль, разглядывает, как занимается огонь. словно мальчишка на рыбалке разводит костерок, чтобы сварить уху. Он будто позабыл, что кругом война, что рядом вражеский танк...

Силантий совсем не заметил того рокового момента, не успел на него среагировать... Он не успел выстрелить в тот момент, когда на долю секунды приоткрылся на танковой башне люк и из образовавшейся щели выкатилась граната...

Рядовой Борисов тоже ничего не успел услышать и увидеть.

Граната разорвалась рядом с ним...

Колька умер не сразу. Он прополз метра три в сторону Батагова и вытянулся на мокрой, только что вытаявшей бруснике. Из его бока, ног и головы обильно вытекала кровь и окрашивала в багряный цвет мокрую прошлогоднюю зелень. У него не хватило сил доползти до своего командира.

Батагов дико закричал. И пока кричал, бил и бил из пулемета по проклятому танку. И пули звонко отскакивали от брони и уходили рикошетом в землю, в лес, в небо... Пока не закончились в ленте патроны.

Потом растерянно, плохо соображая, он подтянул запасную коробку с оснащенной патронами лентой, вновь зарядил пулемет, передернул затвор.

Он остался один.

Батагов опустошенно глядел на танк. Произошло то, чего он боялся больше всего – петрозаводского отчаянного парня, его надежного боевого друга, трепача и балагура Кольки Борисова больше нет. Не вернется он к любимой девушке Тане Замотиной с боевой медалью на груди, потому как лежит он теперь недвижимый рядом с подбитым им танком. Почему-то Батагов уверен был сейчас, что враг убил Кольку по его, Силантия, недосмотру. Что именно он, старый солдат, допустил глупую гибель парнишки, годившегося ему в сыновья, не уберег его в момент смертельной опасности. Ведь мог бы уберечь, а не уберег! Не усмотрел, не защитил!

И он, Батагов Силантий, остался теперь один против врага, которого одному ему никак не одолеть. Он не знал, как ему воевать одному.

Словно тяжелый и громоздкий куль залежалого старого сена упал на него и всей тяжестью придавил, приплюснуло к земле отчаяние, сковало руки, ноги, тело, вдавило в сырость лицо. И только ненависть и жгучее чувство мести к сидящим в танке мерзким тварям, убившим Кольку, заставило оторвать голову от земли, опять взять танк на прицел.

Постепенно вернулось осознание того, что под танком горит, продолжает гореть хворост, зажженный его вторым номером. И что дело, начатое Колькой, надо довести до конца.

Шло время. Костер горел. Батагову было совершенно ясно, что днище танка уже должно было раскалиться, как сковородка на горячей плите.

«Там пекло сейчас, – думал Силантий, – долго они не выдержат».

Он лежал за пулеметом и ждал.

Наконец, люк башни резко отскочил в бок. Его выбросила чья-то сильная рука. И мгновенно из образовавшейся дыры взвилось вверх гибкое тело в черном комбинезоне и даже

успело спрыгнуть на землю. Но больше оно ничего не успело. Силантий изрешетил его пулеметной очередью.

Тут же из люка высунулся немецкий автомат и стал строчить в его, Батагова, сторону. Но наугад, не прицельно.

– Ну чего ты пули тратишь напрасно, дуреха? – проворчал Батагов. – Ты вылезай из танка-то свово. Вот мы с тобою и пульнем друг в дружку, померяемся, кто кого.

Немецкому танкисту, видно, совсем уж было не в состоянии сидеть в раскаленном танковом чреве. Он высунулся по пояс из башни и открыл бешеную стрельбу в направлении Силантия. Тот, почти не целясь, дал короткую очередь.

Танкист провалился в люк и громко застонал.

– Ты живой, значит, гад, – сказал ему Батагов. – Ну погоди у меня, уже я тебя...

Он встал во весь рост, прихватил лежащую в окопе винтовку и пошел к танку. Поднялся на броню. Люк был открыт. Силантий глянул в него и сразу отпрянул. И вовремя. Из люка мимо лица плеснула длинная, густая автоматная очередь.

– Уже я тебя... – еще раз сказал Батагов.

Он встал на колени рядом с люком, перевернул винтовку стволом вверх, затем долго и размашисто, с остервенением бил прикладом в танке чего-то мягкое, податливое, сырое. Поначалу, в такт его ударам внутри танка кто-то вскрикивал и стонал. Потом все смолкло.

Батагов плюнул в раскрытый люк и с силой, со всей злостью захлопнул крышку.

Он подошел к телу своего второго номера, своего друга, перевалил его на спину, скрестил на груди его руки и уселся рядом.

Старый солдат долго сидел, уронив на грудь голову, положив ладони на колени. Сидел и тихо стонал. И слезы стекали с мокрых его щек и падали на холодные прошлогодние жухлые листья.

11

Вдосталь было у Силантия невзгод да неладух в его немаленькой уже жизни. В основном начались они с восьмилетнего возраста, с того момента, когда со зверобойки не вернулся его отец. Там, уже вовсю больной «лихоманкой», как тогда называли туберкулез, наглотался он на ледяных полях сырого морозного воздуха, и легкие его скрутила смертельная судорога от наполнившей их сырости. А где прогреешь дыхание, когда вокруг только бескрайняя застывшая пустыня? Отец умер прямо на судне среди своей зверобойной артели из двенадцати человек.

Об отце, о его доброте и отцовской любви остались только воспоминания в виде ярких и теплых картинок, запечатлевшихся в памяти.

Вот отец привел его на озеро и учит удить рыбу. В глаза лупит яркий свет висящего над озером солнца.

– Клюет! Тащи! – кричит отец.

Маленький Сила дергает удилище и видит, как из воды выпрыгивает вслед за поплавком ярко-серебристая рыбка, перелетает через него и шлепается на берег в ближних кустах. Отец поднимает ее, обнимает сына за плечи и говорит торжественно и радостно:

– Это, Силушка, сорога! Ты сорожку поймал!

И хвалит его.

Даже и теперь Силантию Батагову памятна та радость отцовской похвалы, которую испытал он тогда, в свои шесть лет.

Он до деталей, до самых маленьких мелочей помнит, как шел на рыбацкую тоню Вересянку, где вместе с двумя деревенскими мужиками ловил семгу его отец.

Стояло лето, и был солнечный день. Маленький Силантий шлепал босиком по морскому берегу, нес отцу узелок из маминого платочка. А в узелке том были напеченные мамой картофельные шанежки, калачики, да ягодные калитки⁹, да бутылка свежего, утреннего молока от их коровы Касатки.

Справа распласталось в ширь и в даль бесконечное, уходящее за горизонт синее море, взъерошенное горним, дующим с берега ветром, а слева тянулся поросший можжевельником, березками и елками пологий угор, чередующийся с низинами, утыканными разнообразным лесом. По морю то и дело бежали в разные стороны белые квадратные паруса, под ними чернели карбаски с сидящими в них мужиками да женочками. Когда карбаски пробегали близко от берега, Силантий поднимал вверх свободную руку, махал ею и кричал:

– Ой-е-ей!

Люди в карбасах ему в ответ тоже обязательно махали и тоже что-то кричали. Маленький Силантий из-за ветра и шума прибрежных волн не разбирал слов, понимал только, что было в тех криках нечто одобряющее и даже ласковое.

Он до сих пор не смог уразуметь, как отец из дальней-дальней дали разглядел его фигурку на морском берегу? Где-то за километр до тони увидел Силантий, что кто-то бежит к нему навстречу по заплестку¹⁰ и машет руками и тоже кричит.

Наверно, отец его очень любил. Любил и ждал.

Он шлепал бахилами по тонкой воде набегавшей волны, бежал к нему, и вот, чрезмерно запыхавшийся из-за своей болезни, подбежал, сгреб подмышки, подбросил кверху... Что-то стал говорить такое родное... Силантию теперь не вспомнить этих слов. Точно только одно: это были ласковые слова встречи отца с сыном, слова радости встречи с ним.

⁹ Калитка – ватрушка с ягодами.

¹⁰ Заплесток – прибрежная морская полоса.

Отец, надсадно дыша, посадил сынишку на свои плечи, взял в руку узелок, и они пошли в рыбацкую избу, где Силантия ждала уха из пинагора¹¹ и ядреный чай на березовой чаге вперемежку с ягодами шиповника.

А потом было двухдневное счастье жизни на Вересаихе с выездами с рыбаками на невод, общая радость в виде пойманных ими семужин, просмолка карбаса, в котором после удара о подводный камень началась течь, вечерние посиделки у костра... Счастье навалилось такое, что стояло в горле сладостным комом. От него трудно было дышать...

Всю жизнь, в тягостные ее минуты, Силантий, чтобы перебороть приступившую беду, оттолкнуть ее от себя, вспоминал тот детский свой поход. И мальчишечью радость, и такой родной запах отцовского тела, разгоряченного работой и болезнью. Сквозь толщу и туман прожитых лет видел свет любви в отцовских глазах.

Отец, ушедший из его жизни совсем молодым, будто помогал ему в тяжелую минуту. Воспоминания о кратких, но избыточно счастливых мгновениях, проведенных рядом с ним, озаряли душу светом давнего детства, разгоняли сгустившийся мрак жизненных невзгод.

Вот и сейчас детские воспоминания вновь нахлынули, обдали теплом...

А потом пришел к нему и сам отец. Явился таким, каким его запомнил Силантий – молодым, но худым и бледным. Он будто сел рядом. Посидел, помолчал, обнял сына за плечи. Словно одобрил, поддержал, будто благословил на последний бой. Потом поднялся и ушел в густой ельник, под темные своды деревьев.

Остался лишь памятный и родной с детства запах, запах отца.

Все было как во сне.

Силантий открыл глаза, передернул плечами... Вставать, сбрасывать с себя короткое, счастливое забытие ему не хотелось. Но вставать надо было... Он поднялся и пошел выполнять солдатскую свою работу.

Перво-наперво подошел он к убитому напарнику, присел над ним и приподнял спину над землей. Потом, пятась, подтащил волоком к своей позиции, к пулеметному окопу. Саперной лопатой измерил длину Колькиного тела. Получилось ровно три лопаты с половиной. Затем около молодой березки наметил на земле размеры могилы и начал ее копать.

Батагов понимал, что часа два времени у него имеется. Пока оставшиеся в живых солдаты вернутся в свою часть, пока доложат ситуацию, пока командование примет решение по дальнейшим действиям... Времени должно хватить на все про все...

В вырытой яме выстелил дно лапником и осторожно спустил Кольку. Положил, как всегда делается, ногами на восток. Чтобы глаза его глядели на восходящее солнышко.

Несмотря на весеннее разводье, на обилие текущей и стоящей на земле воды, в могиле у Кольки было сухо. Это оттого, что грунт был песчаный с легким суглинком, и вода сквозь него уходила. А еще оттого, что и пулеметная позиция, и теперешняя могила были на пригорке. На пригорках почва всегда сухая.

Он посидел на краю могилы, поразмышлял, что же делать дальше?

Дело в том, что, когда уже в могиле поправлял на убитом напарнике гимнастерку и шинель, то разглядел на шее у него две нитки, уходящие под ворот.

Почему же две? Обычно «смертничек» висит и все. Пластмассовый футлярчик, в котором свернута трубочкой бумажка. На ней все данные бойца: как зовут, год и место рождения, адрес... Если убьют, а потом кто-то найдет тело, сразу станет ясно: кто ты и откуда? И сообщат родным.

Батагов, как и многие, не стал вешать на себя такой футлярчик. Среди солдат бытовало поверье: повесишь эту штучку на шею, а она, подлая, смерть притягивает. Тебя сразу и убьют. А Колька вот повесил...

¹¹ Пинагор – рыба северных морей.

Но была и другая ниточка. И Силантий расстегнул ворот Колькиной гимнастерки. На теле убитого солдата блекло сверкал маленький серебряный крестик...

И Силантий призадумался: что теперь делать-то? Значит, его напарник был верующим, хоть и скрывал это.

Батагов был атеистом. Он прошел твердую красную школу. После Гражданской вступил в ВКП(б), выступал на собраниях, активничал. Хотя знал, конечно, что был он сам крещеным, и крестил его поп, которого он потом вместе с другими безбожниками в тридцатом году выгонял из церкви, чтоб катился на все четыре стороны.

Время было такое, и Батагов шел в ногу со временем.

Вот лежит перед ним дорогой ему человек, славный боец, его ученик, с крестиком на груди. С крестиком... Надо же как-то его похоронить как следует.

Как надо, Силантий в общем-то знал. Русские люди, несмотря на угрозы и запреты, во все времена советской власти хоронили своих покойников по православному обычаю. Этому почему-то не противились даже коммунисты. И Батагов тоже никогда не возражал. Он достал из ножен старый рыбацкий свой ножик, срезал молодое березовое деревце и вырезал из его ствола две чушечки – одна длиннее, другая покороче. Сделал продольные зарубки на той и другой, положил чушечки поперек друг другу. Достал из нагрудного кармана моток суровой нитки, который вечно носил с собой, и прочно закрепил поперечную чушечку с продольной.

Получился крест.

Потом Силантий, как и положено, скрестил на Колькиной груди его руки – левая снизу, правая сверху, подsunул длинный черенок креста под правую ладонь. Крест закрывал теперь всю грудь. Правильно закрывал.

Силантий сидел на краю могилы, курил сигарку и думал:

«Вот теперь хорошо получилось. Как и положено».

Он бы и молитву прочитал. Только не знал он молитв.

В этот момент расставания с близким человеком Батагов не выдержал. Он упер локти в колени, скрючился и заплакал. Плечи его задергались. Он гнусаво, по-бабьи выговаривал своему другу горькие слова:

– Ты, Колька, неправильно сделал, что под гранату полез. Я тебя так не учил делать. Ты пошто это меня одного бросил? Как мне одному-то воевать теперича? Ты подумал об этом? Хреновый ты напарник, вот что...

Он растер по лицу шинельным рукавом набежавшие слезы и высказал Кольке заботу, крепко его тревожившую:

– А убьют меня, кто меня похоронит, как я тебя? Хто могилку выкопат? Буду я лежать под кустом не обряженной, не закопанной в земельку. Хорошо мне будет, думаешь? Все это из-за тебя, Колька. За каким хреном, спрошу я тебя, ты под гранату-то полез, а?

Время шло, надо было поспевать, и Батагов спустился к Кольке, поцеловал его в окровавленный лоб, погладил мертвые щеки. Затем пилоткой накрыл лицо, чтобы комья земли не били его...

Закончив похороны, Силантий еще маленько посидел около могилы, горько покачал головой.

Наконец он поднялся. Оторвал себя от Кольки Борисова и пошел к убитым им финским солдатам. Ему надо было еще воевать, а для войны с наступающим войском желательно иметь автоматы. А, может быть, будет удача найти и парочку противотанковых гранат. Он понимал, что финны и немцы должны вот-вот пойти в наступление на основные позиции красноармейцев. Они провели разведку, обнаружили, что в тылу у них нет ни регулярных войск, ни оборудованных огневых укреплений, а есть только одно неподавленное, слабо защищенное пулеметное гнездо, которое не представляет большой опасности.

Поэтому сейчас в наступление пойдут танки, бронемашины и пехота. Пойдет большая, непреодолимая сила, которой Батагов со своим пулеметом совсем не страшен. Она и не заметит затерянного в лесах одиночного пулемета.

Начали попадаться убитые им солдаты. Они лежали в разных позах, кто на животе, кто на боку. У всех были или немецкие винтовки «Маузер-98», или автоматы МП-38, именуемые между красноармейцами «Шмайссерами». Батагов хорошо понимал, что в обороне больше шума и страха наводят эти автоматы. В ближнем бою он, в самом деле, более надежен, так как выплевывает по сторонам больше пуль. При этом неимоверно трещит. Он снял с убитых два автомата и срезал с ремней четыре подсумка с полными магазинами. Достаточно.

Противотанковых гранат не нашел. Да и не слышал, чтобы у немцев в последнее время появились такие вот гранаты. Знал, что есть у них на вооружении какие-то «фауст-патроны», говорят, жутко вредные штуки, да еще гранаты, прожигающие броню направленным ударом. Но на Карельском фронте о них только слышали, но вот никто пока не видел. Известно было Силантию, что немцы и финны в борьбе с советскими танками действуют по старинке: как и наши солдаты, связывают по пять-шесть ручных гранат М-24 и кидают их с близкой дистанции. Нередко при этом гибнут сами: граната эта осколочная, а потому очень опасная.

На фронте всем было известно, что немецкие солдаты считают богатым трофеем наши противотанковые гранаты РПГ-40, легко пробивающие двухсантиметровую броню. Две такие гранаты лежали сейчас в батаговском окопе. Только две! Маловато, конечно... Хотя понимал он, что вряд ли успеет бросить больше, когда танки напрут. Немецкий танк – штука опасная. Однако, как и любой крестьянский сын, Силантий всегда, во всяком деле любил, когда имеется запас. А в серьезном бою запас ой как может пригодиться!

Обвешанный автоматами, со своей винтовкой, с солдатским вещмешком, набитым патронными магазинами, он уже поворачивал обратно, когда ему повстречался живой финский солдат.

12

Он сидел на земле, прислонившись спиной к дереву. Сидел и не шевелился, будто мумия, застывшая в веках в одной позе. Солдат глядел широко распахнутыми глазами на Батагова. Правая рука его подрагивала. Она пыталась дотянуться до винтовки, лежащей рядом, но почему-то не слушалась своего хозяина и безвольно падала обратно.

Инстинктивно Силантий хотел было выстрелить, уже поднял ствол... Но, разобравшись в чем дело, опустил свою винтовку. Солдат был ранен в живот прямым пулеметным выстрелом. Вероятно, у него были перебиты внутренности и позвоночник, солдат был парализован и не мог управлять своим телом. Он сидел в луже собственной крови.

Но мозг его, видно что, работал.

И Батагов присел перед ним на корточки, разглядел его лицо.

Это был совсем еще молодой парнишка. Сопляк, молокосос лет семнадцати. Лицо белое от потери крови, предсмертное лицо. На щеках струйки слез. Ему, наверно, было очень больно, но у солдата не было сил, чтобы стонать. Светлые его волосы шевелил ветер.

– Ты зачем сюда пришел, паря? – спросил Силантий, глядя ему в глаза. – Это же не твоя земля, а моя. А я тебя не звал. Зачем ты сюда пришел?

Солдат глядел на него молча. Глаза его затухали.

Батагов поднялся и пошел к своему окопу. Ему было жалко этого финского парнишку, годящегося ему в сыновья. Но он проглотил эту жалость вместе с тягучей слюной начинающего сохнуть рта – перед каждым боем ему всегда почему-то хотелось пить. Он понимал: скоро, совсем скоро по нему будут стрелять такие же вот губошлепы, а может, и убьют.

Он шел и матерился, ругал и этого солдата, и войну, в которой надо обязательно кого-то убивать.

– Сидел бы, глупыш чухонский, дома, не спрыгивал бы с мамкиной курошести¹². А то ему обязательно надо было под пулю мою подлезть...

Сев около пулемета, Силантий задумался. Пойдет наступление, а значит, пойдут танки. Как с ними воевать? Никак. Только две «эрпегешки»... Да и то, чтобы их бросить, надо еще до того танка добраться. Тоже задачка, не приведи Господи. Танкисты в походе обзырывают вокруг, как метлой метут. Уничтожают вокруг все живое... Пехота пойдет в колонне, на грузовиках, значит, с ней воевать, скорее всего, не придется.

«Хотя... – Батагов присел над скопившейся в маленькой низинке водой, стал черпать ладонью ее, холодную и прозрачную, шумно похлебал. – Почему это не придется? Они ведь приблизительно знают, где располагается мой пулемет. Те, кто остался живой, указали на это место. Значит, высадят взвод солдат, будут прочесывать лес, чтобы меня на месте обнаружить, да и прихлопнуть. Знамо дело, им нельзя меня в живых оставлять, я ведь могу пропустить танки вперед, а потом открою огонь по грузовикам, по живой силе...»

Он сидел, склонив голову, сгорбившись. Размышлял.

Говоря по правде, думал он, ничего его больше не удерживает на этой высотке. Боевую задачу свою он вместе с Борисовым выполнил – защитил тыл своей роты. Но ведь роты больше нет... Пока не поздно, он может забрать свой пулемет и уйти туда, в свою часть, где квартирует его полк. И товарищи, и командиры наверняка одобряют его решение, он сделал все, что смог бы сделать, все, что было в его силах. Оправдываться ему вроде бы не в чем: не посрамил себя ни в чем.

«Ну, дак и чего теперь делать, дорогой товарищ, рядовой Батагов? Пора тебе удирать, пока не поздно? А ведь поздно-то будет уже совсем скоро»...

¹² Курошестъ – насест в курятнике.

Он покрутил головой по сторонам, вглядываясь рассеянно в окружающие предметы. Не увидел ни вблизи, ни вдали никакого решения.

«Чего же делать-то?»

Стал он размышлять дальше.

«Ну, хорошо, вот приду я такой-сякой, во всем правый, задание, мол, во всем выполнивший. Готов, мол, к получению медали. А меня и спросят: а как, мол, у тебя, дорогой ты наш боец, совесть поживает солдатская? Вот ты красивые сказки говоришь, что патроны все по врагам расстрелял. А гранаты у тебя остались? Остались. А штык солдатский у тебя имелся? Имелся. А оружие трофейное было? Было. Дак какого хрена, рядовой Батагов, ты боевую позицию свою покинул? Разве ты, солдат, имел такой приказ? Пока были силы и оружие было, ты обязан был разить им врага».

Силантий достал газетный огрызок для новой самокрутки.

«И ведь правы будут, когда такие вопросы мне зададут. А на вопросы эти ответов у меня не имеется...»

Надо было принимать решение.

Раскуривая новую сигарку, Батагов вспомнил опять свою семью, недостроенный дом, жену, малых деточек. Посмотрел внимательно на могилу, в которой похоронен напарник Колька Борисов.

Уходить, не уходить?

И спросил сам себя:

– А вот ты сам, рядовой Батагов, что бы ты сделал с твоим подчиненным солдатом, если бы он пришел к тебе со своего поста, покинутого без спросу, и доложил бы, что у него кончились патроны, поэтому воевать больше не может. А у самого оружие трофейное имеется и гранаты.

И сам себе ответил:

– Я бы ему морду набил сначала, а потом отдал бы под трибунал.

Батагов покачал головой, хмыкнул: ну вот и ответил сам себе. Больше вопросов не имеется. Он тяжело поднялся, подошел к Колькиной могиле и высказал другу своему сокровенные слова:

– Не хочу уходить никуда я от тебя, Николаюшко. Останусь тут. Будем лежать рядком веки вечные. Так оно получается...

И он стал думать о предстоящем бое, о том, как организовать ему последнюю с врагом схватку.

Главная его позиция – вот она тут, на старом месте, в окопе. Но долго стрелять ему не дадут, пулемет размолотят танки из своих пушек. Это как пить дать. Но один снаряд он может пропустить – редко, кто из танкистов попадает с первого выстрела в такую маленькую цель, как пулемет. Сразу же пойдет прицельный снаряд, до него надо успеть уйти.

А куда?

А вот сюда! Метрах в двадцати в кустах возвышается маленький пригорок. На нем Батагов оставил винтовку «Маузер» с двумя подсумками, набитыми полными обоймами, и «Шмайссер» с четырьмя запасными рожками.

Последнюю боевую позицию он организовал за передком расстрелянного им немецкого грузовика. Там тоже оставил винтовку и автомат, и патроны к ним. И две противотанковые гранаты. Эта позиция будет ближе всего к идущим навстречу танкам.

Расчет простой: танки разбивают пулемет – он переползает на вторую позицию, в кустах. Бьет из автомата. Его там обнаруживают, сосредотачивают по нему огонь – он перебирается к машине, к последней боевой точке.

А дальше будет видно. Хотя то, что никакого «дальше» уже не будет, он понимал теперь совершенно отчетливо и даже спокойно. Понятно было ему, что как только он начнет кидать

гранаты, его размолят танковые пулеметы. Но он для себя все решил. И ни о чем больше не думал, кроме того, что надо идти вперед и воевать.

13

Что за чудеса творит Природа! Война кругом гремит, а случись короткое затишье – и пожалуйста, кругом птичьи концерты! А сегодня, после утреннего боя, считай, день-деньской стоит неумолкающий птичий гомон.

Силантий ждал подхода врага. Но, пока стояло затишье, он сидел на кокорине¹³ возле своего пулемета среди нагретой солнышком сырости и слушал Весну. В лесу стояла невозможная благодать и Божья красота. Была та самая желанная, родная ему с детства пора, когда Природа уже сбросила со своих плеч, уставших за долгие зимние месяцы, надоевший ей холод, уже начала впитывать в себя целебную, теплую, солнечную энергию. Бегут, стремятся к рекам ручьи с талой водой, но они теряют свою буйную силушку, уносят на себе остатки разрушенных теплом, еще недавно могучих сугробов. Распрямляют спины деревья, до сей поры согбенные тучными снежными и ледяными шапками. И по всему лесу выклюнулась из треснувших почек, разбушевалась и пошла по веткам мягкой акварельной зеленью молодая мелкая листва, словно на лес с высокого неба упал нежный зеленый пух и украсил и без того прекрасную картину весенней северной тайги.

И вокруг-вокруг-вокруг звенит, поет, горланит, трещит и высвистывает чудные, на все лады мелодии самый прекрасный из оркестров – оркестр птиц, вернувшихся в свой лес и радующихся своему возвращению.

Как же не хотелось Силантию Батагову, чтобы в этот желанный для него концерт, в котором каждая нотка была родной, знакомой с детства, вторглись бы какие-то другие, враждебные этой мелодии звуки!

И вот они прогремели, эти звуки. Как в прошлый раз, где-то далеко за лесом, наверное, в самом конце проселочной дороги, идущей с финской стороны. Только сейчас эти звуки были совсем другие. Это было не отчетливое тарахтенье одного-двух моторов, а тяжелый, сплошной шум десятков двигателей, слившихся в единый грозный гул. Этот гул, хотя пока что далекий и частично пропадающий за холмами в провалах местности, уже повис над лесом, как далекая черная грозовая туча. И эта черная туча двигалась к Силантию.

Батагов с грудным холодком осознал: на него надвигается столь большая силушка, что ему одному с ней никак не справиться.

Постепенно грозовой гул приближался к нему, становился отчетливее, нарастал. Но был все еще в глубине леса.

Силантий поднялся с кокорины, отбросил недокуренную сигарку, стянул с головы пилотку и сказал, обращаясь к лесу:

– Спасибо вам, птички дорогие, что спели мне напоследок... Порато¹⁴ по душе пришлась мне ваша песенка...

Потом он нахлобучил на голову пилотку, повернулся в сторону уходящей в лес дороги и сел опять на свою кокорину. Стал слушать, как к нему приближается враг, и снова ушел в свои мысли.

Он уже не думал о смерти. Его уже не пугала эта проклятая старуха с кривой косой, он совсем забыл о ней. Как всякого русского солдата, которому предстояла последняя кровавая схватка с неприятелем, он думал только о том, как бы одолеть больше врагов, нанести врагу максимальный урон.

Батагов уже слышал от своих командиров про подвиги защитников Брестской крепости, Москвы и Ленинграда, про самолетные тараны, про то, как наши солдаты ложились на вра-

¹³ Кокорина – изогнутый ствол поваленного дерева.

¹⁴ Порато – очень (*поморск.*).

жеские пулеметы, чтобы спасти своих однополчан... И эти истории искренне воодушевляли его, придавали железный смысл этой жестокой войне. Опытный воин, он давно уже не верил в глуповатую пропаганду, но всегда твердо знал одно: если Родине будет нужно, он безо всякого колебания отдаст за нее свою жизнь.

Наплыли на него сейчас и придавили к земле тяжелые мысли о родном недостроенном доме, о семье, о женушке и деточках. Тогда он повернулся лицом к востоку, к той сторонкушке, в которой находилась его деревня, и не сказал, а крикнул:

– А простите-ко вы, родные мои! Христа ради простите!

И вытер рукавом набежавшую ненароком слезу.

Гул все нарастал и нарастал. Будто не прекращался гром из гонимой к нему черной грозовой тучи.

Сидя около своего пулемета, Силантий вспомнил сейчас, как всю жизнь активничал.

Еще в Гражданскую вступил в комсомол, выступал среди шумных красноармейцев на собраниях. Потом в двадцать шестом поехал на областной слет и там в числе лучших был принят в партию. Всегда брался за любое порученное дело, тянул лямку до конца, пока не достигал результата. Далеко пошел бы, да мешала ему его резкость в отношениях с начальством. Не любил, не терпел он неправды, лицемерия и подлости. А как пробиться в начальство, не обладая этими штучками?

Да и то, с какой стати стали бы его повышать, когда ему говорят: здесь надо улучшить отчет, тут сделать приписку в показателях. А он вечно гоношился:

– Не хочешь в морду за такие слова?

Кому это понравится? Вот и сидел Батагов всю жизнь на средних ролях, числился в середнячках.

Так и не стал бывший лихой красноармеец ни секретарем райкома, ни председателем исполкома. Хотя мог бы с его-то революционным прошлым...

И отчего-то повисла тяжким, неизбывным грузом на душе чересчур запоздалая, крепко опечалившая его сейчас забота. В этот последний момент, когда шла на него танковая армада, вспомнилось ему вдруг, как ставши комсомольцем, снял он с себя серебряный крестик, надевший когда-то на его младенческую шейку сельским священником отцом Павлом Васильевским. Как в тридцать втором году по разнарядке парторганизации громил он деревенскую церковь, в которой вековечно находились святые мощи яренгских чудотворцев Иоанна и Лонгина. Выбрасывал на улицу святые иконы...

Сейчас он искренне не понимал, зачем он делал это? Зачем потерял где-то на запутанной житейской дороге святую православную веру, которой жили и укреплялись целые поколения предков-поморов?

Он встал на колени, устремил лицо к небу, словно старался увидеть там, в синей дали Того, кого бросил и забыл когда-то в юности. И стал неумело, коряво и бестолково водружать на себя крестное знамение, стал молиться. Он давно перезабыл все молитвы, которые приносили его родители, которым учила его бабушка, которые и он лепетал когда-то, почти сорок лет назад.

Сейчас он, упершись глазами в небо, посылал Ему слова своей молитвы:

– Батюшко Господь и Ты, матушка Богородица, простите Вы меня, Христа ради, бестолкового придурка. Запутался я перед Вами. Глупый я, вот и все. Только Вы простите меня...

Вспомнил сейчас Силантий простецкую, незамысловатую истину, которую раз сто слышал у бывалых земляков, хаживавших на морской промысел:

«Кто в море не бывал, тот Богу не маливался!»

Ему был известен простой смысл этой поморской пословицы: будь ты хоть какой умелый да хватистый мужик, не важно, верующий или же нет, но, когда в открытом море налетит на

твой карбас шторм и порвет на тряпочки парус, да как начнут шквалы кидать лодку из стороны в сторону, как легкую дощечку, и, когда душенка твоя будет уже готова покинуть никчемное твое тело и улететь в свой дом – в небо, вот тогда ты встанешь в полузатопленном морской водой карбасе на колени среди бушующего моря и заголосишь: «Господи, спаси мою душу грешную!»

Кто в море не бывал, тот Богу не маливался!

Также и на войне.

Кто он сейчас против вражеской стали, пушек и сотен солдат, надвигающихся на него? Комочек придорожной пыли. Дунь ветерок – его и нету. Он сейчас, как голый младенец перед той Силой, которая руководит всем. Почему-то в свой предсмертный миг Батагов это остро, воочию понял.

Где они – комсомол и партия, которым он столько лет верно служил? Почему они не рядом с ним в этом окопе? Не защищают его перед сильным врагом? Он один здесь, забытый всеми солдат.

С ним остался только Тот, которого он когда-то позабыл, бросил, отрекся от Него. Силантий отчетливо осознавал, чувствовал всем своим телом, как Он внимательно и заботливо смотрит на него и сопереживает ему в этой последней смертельной схватке, глядит из небесной выси, как лицом к лицу с врагом воюет рядовой двадцать третьей стрелковой дивизии Батагов Силантий Егорович.

И осознание того, что он все же не один в этом карельском лесу, что он не брошен, придало ему спокойствия и уверенности.

Но, когда он вновь глянул на дорогу, сердце его охолонуло. Прямо на него шла танковая колонна, конец которой скрывался за поворотом. Танки перемежались с грузовиками, в кузовах которых матовым светом посверкивали ряды солдатских касок.

После молитвы Силантию стало как будто легче. Прекратился озноб, сковывающий тело и душу. Глядя на стальную громадину, распластанную по дороге, он почти равнодушно наблюдал, как она, издавая страшный гром, приближается к нему.

14

До впереди идущего танка оставалось метров четыреста, когда колонна вдруг остановилась. Из люка второй машины высунулся военный в офицерской шинели со светлыми погонами и стал махать руками. Он что-то кричал.

Потом из грузовиков стали выпрыгивать солдаты и выстраиваться в цепь.

«А-а, – понял Силантий, – они ведь знают, что где-то здесь мое пулеметное гнездо. Задача солдат теперь обнаружить меня и отдать под танковые залпы. Так они меня должны ухлопать».

Он хмыкнул, криво усмехнулся.

– А хрен вам с маслом, умники! Я хочу еще с вами повоевать самое маленечко. Достаньте меня сперва, гопота чухонская.

И жалко ему в эту минутку было только одного: не успел он напоследок скрутить да выкурить последнюю сигарочку.

Цепь шла с интервалами шагов в десять – пятнадцать. Густо шла. Танки стояли и ждали, когда появится цель? Когда до солдат оставалось метров восемьдесят, Батагов открыл огонь. По старому обыкновению, он аккуратно выцелил офицера, идущего в середине цепи, поймал на мушку его грудь и нажал на гашетку. Пулеметная пуля летит быстро. Пока падал офицер, Силантий прошелся огнем по всей цепи. Оставшиеся в живых солдаты залегли. Батагов продолжал стрелять и по ним. От упавшей на землю цепи к нему доносились стоны раненых, предсмертные крики убитых.

«Сейчас шарахнет передний танк», – только и успел подумать Силантий, как из жерла пушки вылетел темно-красный огонь, и снаряд пролетел у него над головой. Разорвался, ударившись о ствол стоящего сзади дерева. Заскрипела перерубленная пополам лесина, ее вершина свалилась и гулко, с хрустом сучьев ударилась о землю.

– Все, пора уходить, – сказал сам себе Батагов, – второй снаряд будет в цель.

Он погладил горячий казенник своего верного «Максима», сказал ему:

– Прощевай, друг. – И быстро отполз на вторую позицию, где лежали приготовленные заранее автомат и винтовка с патронами.

В ту же секунду раздался оглушающий взрыв танкового снаряда, уже прицельного. Он ударил в землю под самый пулемет, отчего тот искорежило и отбросило в сторону. Вместо пулемета осталась только большая, глубокая воронка. До Батагова долетели рыхлые комья земли. Уши от страшного снарядного треска закупорила глухота. Осколки не задели его, пролетели над головой.

Теперь солдаты должны были подняться и идти вперед, продолжить прочесывание местности. Но произошло неожиданное. Люк второго танка опять открылся – и снова появился силуэт офицера в серебряных погонах. Он размахивал руками и что-то кричал. Солдаты из крепко поредевшей цепи поднялись на ноги, подхватили под руки или подняли на плечи раненых и ушли к своим машинам. Убитые остались лежать на земле. Как сообразил Батагов, их позже соберет похоронная команда. Сейчас убитые не нужны, солдаты идут в атаку.

Когда все погрузились, офицер дал команду двигаться вперед. Колонне больше ничего не угрожало: вредоносный пулемет, создавший столько проблем немецкой и финской армии, наконец-то был уничтожен.

Силантий понял, что на этой позиции он бесполезен. Скоро танки приблизятся к третьей его боевой точке. Надо срочно быть там!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.